МАЯКОВСКИЙ УЛЫБАЕТСЯ

МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ

МАЯКОВСКИЙ ИЗДЕВАЕТСЯ

Гослитиздат
1936

МАЯКОВСКИЙ УЛЫБАЕТСЯ

МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ

МАЯКОВСКИЙ ИЗДЕВАЕТСЯ

ГОСЛИТИЗДАТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
МОСКВА 1936

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008

М
М Р

Рисунки в тексте
В. МАЯКОВСКОГО

БИБЛИОТЕКА
ИМЭЛ
при Ц.К.В.К.П.(б)

56461
56461

ЛЮБИМОЕ ОРУЖИЕ

Оружия
любимейшего род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.

Маяковский, *„Во весь голос"*.

Маяковский начал, как поэт-бунтарь. Это был бунт пролетаризированного интеллигента против жестокого, сытого, скудоумного буржуазного строя. В дни великого Октября, в громах гражданской войны Маяковский стал поэтом-борцом, поэтом пролетарской революции.

Неудивительно, что поэт-бунтарь, поэт-борец называет сатиру, смех, издевку своим любимейшим оружием. Этим оружием он бил по врагам рабочего класса, по врагам революции.

Сатирические стихи Маяковского, написанные до 1917 года, в большинстве печатались в журнале „Новый сатирикон" и естественно сужены в своем размахе тематикой журнала и рамками царской цензуры. Однако и в этих стихах Маяковскому удается в какой-то степени ударить по своим исконным врагам: по ожиревшим буржуям, нудным обывателям и тупоумным бюрократам.

Сатириконские стихи Маяковского не потеряли своей сатирической силы и на сегодня, поскольку еще не все пережитки

капитализма до конца изжиты в нашем сознании и в нашем быту. Найдутся у нас и тупые бюрократы-формалисты, от взгляда которых моментально линяет павлиний великолепный хвост („Гимн судье"). Найдутся и критики, которые не прочь „выдоить из именитого вымени и брюки, и булку, и галстук" („Гимн критику"). Найдется и ученый, „с головой, откусанной начисто трактатом „О бородавках в Бразилии" („Гимн ученому").

И немало найдется обывателей, которые „ничего не понимают", „ненужные как насморк и трезвые, как нарзан".

Февральская революция не очень вдохновила Маяковского на боевые выступления. Два маленьких стихотворения баснного характера: „Интернациональная басня" и „Сказка о красной шапочке",— вот и все.

Зато как развернулся сатирический пафос Маяковского после Октября и особенно в период гражданской войны.

Сатирические агитстихи Маяковского написаны им в 1919 и 1920 годах, его подписи под агитплакатами РОСТА составляют целый том собрания его сочинений. Одних плакатов РОСТА было выпущено около двух тысяч номеров. Из них примерно две трети со стихами Маяковского.

Он писал изо дня в день, целиком отдаваясь этой будничной революционной работе, откликаясь на каждую кампанию, комментируя каждое сообщение с фронта, призывая, мобилизуя массы на борьбу с врагами пролетарской революции.

Небольшой сборник ростинских стихов Маяковский озаглавил „Грозный смех". И действительно, сатира Маяковского периода гражданской войны была не последним родом оружия в руках борющегося пролетариата.

Многие не поняли в то время, зачем такой большой поэт, как Маяковский, „снижает" свой стих до уровня массовой агитки. На диспутах ревнители „высокой, чистой поэзии" обзывали его „плакатчиком", „агитщиком", думая, что это очень оскорбительные клички. А Маяковский продолжал делать свое дело и жестоко издевался над теми, которые отсиживались от революционной работы в своих поэтических кабинетах.

Для Маяковского быть революционным поэтом значило писать стихи „для революции", а не „о революции", а в те

годы агитпоэзия, поэзия плакатов и была тем, что требовалось на фронтах классовой борьбы.

В нашем сборнике мы, разумеется, можем дать только несколько образцов из огромного количества ростинских стихов Маяковского. Характерно в них сознательное упрощение стихотворной формы, их массовость, их общепонятность. И вместе с тем в них то же высокое поэтическое мастерство, как и в прочих стихах Маяковского, не рассчитанных на специально агитационное воздействие.

С окончанием гражданской войны Маяковский не прекратил свою политическую, агитационную работу. Он продолжал писать для Главполитпросвета, для профсоюзных организаций, в журналы, в газеты на темы о борьбе с разрухой, о трудовой дисциплине, о санитарии и о многом другом, что стояло тогда в повестке революционного дня.

С неутомимой энергией продолжал Маяковский бороться сатирическим стихом с внешними и внутренними врагами пролетарской революции: с бюрократами, с нэпачами, с спекулянтами, с лодырями и пр.

Одно из тогдашних его стихотворений „Прозаседавшиеся", в котором он зло высмеивает многочисленные заседания по пустяковым поводам, было напечатано в „Известиях" и обратило на себя внимание Ленина.

В своем докладе на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года Ленин сказал об этом стихотворении:

„Давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно".

Этот отзыв Ленина является неопровержимым доказательством, что Маяковский своим сатирическим стихом проделал большую, полезную, нужную пролетарской революции работу.

С ростом социалистического строительства менялась социально-политическая обстановка, в повестку революционного дня ставились новые вопросы, враг менял свое обличие, и Маяковский продолжал с той же, с возросшей поэтической

силой бороться стихом на фронтах пролетарской революции. Тесно связанный с редакциями газет, в особенности с редакцией „Комсомольской правды", Маяковский всегда был в курсе революционного дела, всегда знал, о чем надо сегодня писать, с чем бороться, к чему призывать.

Но Маяковский даже самую маленькую тему умел своим стихом поднять над будничной злободневностью и увидеть в ней связь с большими проблемами революционного дня. Поэтому его стихи тех времен в большинстве живы и сегодня. И будут жить, пока еще не все враги пролетарской революции добиты, пока последние классовые бои не отшумели.

Тематика сатирических стихов Маяковского чрезвычайно разнообразна. Можно было бы составить целую галлерею типов и персонажей, высмеянных и заклейменных стихом Маяковского. Одно перечисление заглавий сатирических стихов Маяковского дает представление о характере и обширности этой галлереи: трус, служака, халтурщики, помпадур, Плюшкин, сплетник, подлиза, буржуй-нуво, любители затруднений, искусственные люди, руководство для начинающих подхалим и т. д., и т. п.

Часто Маяковский фиксировал в эпиграфе к стихотворению тот конкретный повод, по которому написано стихотворение, подчеркивая тем самым, что тема им не выдумана, а конкретно существует.

Так, к стихотворению „Маруся отравилась" Маяковский дает две выдержки из „Комсомольской правды":

„Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его „Боб"..."

„В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня..."

Эти две заметки дали Маяковскому повод написать стихотворение „Маруся отравилась". Сличение стихотворения с заметками, давшими повод к его написанию, наглядно показывает, как умел Маяковский расширять, развертывать единичный факт до размеров большой, актуальной и не только на тот день темы.

Единичные „Бобы" и Тани превратились в отрицательные персонажи комсомольской среды. Драма девушки-работницы

из газетного происшествия превратилась в большую проблему неустройства романтических взаимоотношений в быту рабочей молодежи. И можно ли сказать, что тема этого стихотворения устарела, что совсем уже перевелись в комсомольской среде „электротехники Жаны" и „Ляли с красивым бельецом"? Можно ли сказать, что все проблемы быта уже раз и навсегда разрешены нашей рабочей молодежью? Разумеется, нет. И поэтому еще сегодня вполне актуальны строки стихотворения „Маруся отравилась", в которых Маяковский сумел заклеймить не только частный случай, но всю гнилую психологию той части рабочей молодежи, которая подпала под растлевающее действие капиталистического яда.

В своих сатирических стихах Маяковский никогда не ограничивался изложением отрицательного факта. Он непременно давал еще положительный лозунг в борьбе со злом В данном стихотворении таким лозунгом является строфа:

Помни
ежедневно,
что ты
зодчий
и новых отношений,
и новых любовей.
И станет
ерундовым
любовный эпизодчик
какой-нибудь Любы
к любому Вове.

Внешняя форма стихов Маяковского, и особенно сатирических, резко отличается от канонов дореволюционного русского стиха. В стихах Маяковского нет узаконенных учебниками стихосложения правильных ямбов, хореев и прочих метрических размеров. Маяковский писал свои стихи, не считаясь с этими размерами, создавая свою ритмику, построенную не на отсчитывании слогов, а на свободной разговорной интонации. Это — не случайная прихоть, не поэтический каприз, а вполне обоснованная настоятельная необходимость найти ту внешнюю форму стиха, в которую могла бы вместиться ударная тематика Маяковского, его пафос, его темперамент.

Маяковский писал свои стихи не для того, чтобы, „втиснутые в тихие томики", они прочитывались вполголоса в

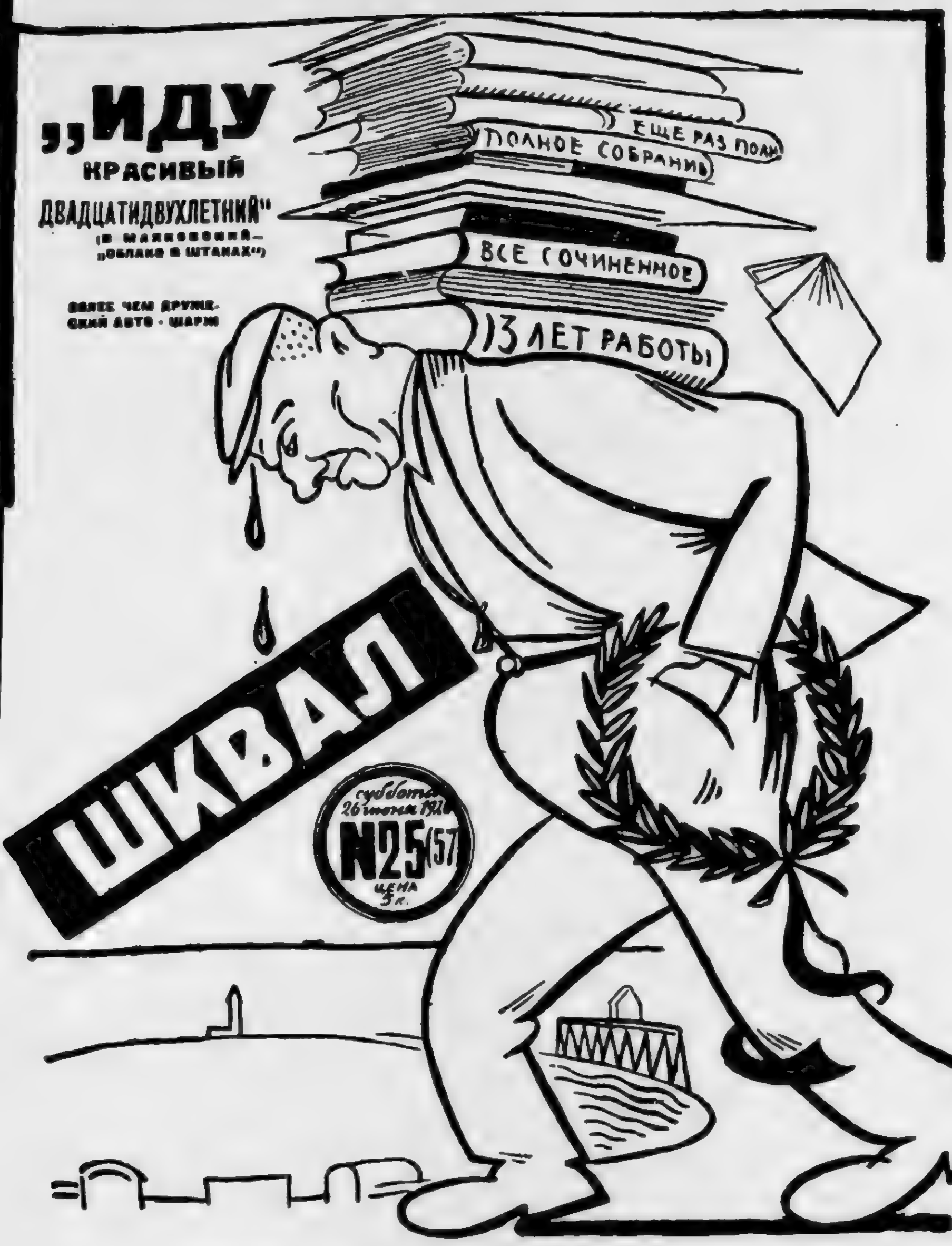
сумеречные вечера, — Маяковский писал их для громкого чтения перед тысячной аудиторией, для чтения „во весь голос", так, чтобы каждое слово попадало в цель, чтобы каждая строка запоминалась. Ясно, что и стих Маяковского должен был быть другой, что ему было тесно в узких рамках привычного стихосложения.

Необычность стиха, ритма, рифмы, синтаксиса, образов Маяковского органически связана с необычайностью явлений, о которых писал Маяковский, с необычностью типа поэта-трибуна, поэта-борца за пролетарскую революцию, которого воплотил в себе Маяковский.

Необычайна наша советская эпоха. И, естественно, необычен тот, о котором сказал Сталин:

„Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи".

О. М. Брик



Автошарж Маяковского для журнала „Шквал" (Одесса) 1926 г.

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
„Будьте добры, причешите мне уши".
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
„Сумасшедший!"
„Рыжий!" —
Запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка.
И до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

(1913)

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот, неизвестно зачем и откуда,
На Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—

и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
„Долина для некурящих".

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: „Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток".

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца,
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

(1915)

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом „О бородавках в Бразилии".

Вгрызлись в букву едящие глаза,—
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?

Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять осклабилось на людские безобразия,
и внизу, по тротуарам, опять приготовишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

(1915)

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям играя носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
„Р-р-р-астакая миноносина!“

Прямо ль, влево ль, вправо ль броситься,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

(1915)

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамаши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? — Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.

2 в. Маяковский

Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услыхал стук.
И скоро критик из именитого вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать — хорошо — ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы наконец, в столетний юбилей,
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше бельё
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

(1915)

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
попрежнему будут ножки у пулярд,
и дышать попрежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме апендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —

сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан,—
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
„Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов—
твоих четыреста тысяч".

(1915)

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы,
и все обвыл.
Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.
Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.

Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.
Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
„Городовой! —
Хвост".
Провел рукой и остолбенел.
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.
Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про чорта.
И когда, ощетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

(1915)

ПУСТЯК У ОКИ

Нежно говорил ей —
мы у реки
шли камышами:
„Слышите: шуршат камыши у Оки.
Будто наполнена Ока мышами.
А в небе, лучик сережкой вдев в ушко,
звезда, как вы, хорошая, — не звезда, а девушка...
А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...
Вы прекрасно картавите.
Только жалко Италию...“
Она: „Ах, зачем вы давите
и локоть, и талию.
Вы мне мешаете
у камыша итти...“

(1915)

ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: „А это видали?"

Если сверху смотреть — разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.
Россия сверху — прямо как огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..

Было бы время, я б доказал,
которые — коза и зелень.

И нечего доказывать — идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

(1915)

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны,—
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника, и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: „Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю".
Сколько раз под сень чинов ник,—
приносил обиды им.
„Эх, удалось бы,— думает чиновник,—
этак на триста бабочку выдоим".
Я знаю, надо и двести, и триста вам—
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.

Но лишний труд — доить поодиночке,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк сбшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам.
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу.
Чтоб об этом больше никогда не писать.

(1915)

МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик,—
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разлились волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте.
А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд
ему,

а ему все кажется: „Цаца! Цаца!“—
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,
будто у него на роже спектакль гала
затеяла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки холеные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер— как из кости слоновой точен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

(1915)

ЭЙ!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?
Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.
Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.
Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.
Смотри, какой ты ловкий,
а я —

вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.
Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот, врага где предки,
туда
отправила шпаги логика.
А после, в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.
И, наконец, ощетинясь, как еж,
с похмелья придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.
Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцырь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все, хоть на день, да испанцы.
Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю самое
зови на вальс!
Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.
(1916)

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.
За столиком.
Сияние,
надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.
Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
„Назад,
наз-зад,
н а з а д!“
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.
Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,

неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.
Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицего розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.
Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет:
„Назад же!
Чего еще?“
Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.
Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая итти,
а сказать кому?
Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью
поцелуев покрою
умную морду трамвая.
В дом уйду.
Прилипну к обоям,
где роза есть нежнее и чайнее?

Хочешь —
тебе
рябое
прочту „Простое как мычание"?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

(1916)

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диэта.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

(1917)

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ БАСНЯ

Петух однажды,
дог
и вор
такой скрепили договор:
дог
соберет из догов свору,
накрасть предоставлялось вору,
а петуху
про гром побед
орать,
и будет всем обед.
Но это все раскрылось скоро.
Прогнали
с трона
в шею
вора.
Навертывается мораль:
туда же
догу
не пора ль?

(1917)

БАБЬИ БУБЛИКИ

Сья история была
в некоей республике, —
баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
У ларьков наполнен рот,
все в ларьке имеется.
В это время на фронт
шли красноармейцы.
Кушать хотца одному,
говорит он:
„Тетя,
бублик дай голодному,
вы ж на фронт нейдете!
Коль без дела будет рот,
буду слаб, как мощи.
Пан республику сожрет,
если будем тощи",
Баба молвила: „Ни в жисть
не отдам я бублики.
Прочь, служивый, отвяжись,
чорта ль мне в республике!"

Шел наш полк и худ, и тощ,
паны ж все сажéнные.
Нас смела панова мощь
в первом же сражении.
Мчится пан и лют, и яр,
смерть неся рабочим...
К глупой бабе на базар
влез он между прочим.
Видит пан — бела, жирна
баба между публики.
Миг — и съедена она.
И она, и бублики.
Посмотри, на площадь выйдь —
ни крестьян, ни ситника!
Надо во-время кормить
красного защитника.
Так кормите ж красных рать,
хлеб неси без вою, —
чтобы хлеб не потерять
вместе с головою.

(1920)

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

(СТАРАЯ, НО ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ)

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат:
— Кум сказал,—
а в ём ума —
я-то куму верю,—
что барон-то,
слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть не даром
все
в Твери
стало продаваться.
Пуд крупчатки...
— Ну,
не ври!—

пуд за рупь за двадцать.
— А вина — скажу я вам!
Дух над Тверью водочный.
Пьяных
лично
по домам
водит околоточный.
Влюблены в барона власть
левые и правые.
Ну, не власть, а прямо сласть,—
просто — равноправие.

Встали, ртом ловя ворон.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.
— На̀, — сказал он бабе,—
скороходы-сапоги,
к Врангелю зашла бы!—
В миг обувшись,
шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрехнул ей:
во Твери
власть стоит советов.
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб баронский
увидать
флаг
на Ай-Петри.

Разогнавшись с дальних стран,
удержаться силясь,
баба
прямо
в ресторан
в Ялте опустилась.

В „Грандотеле"
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбешку тоже.
Метрдотель
желанья те
зрит —
и на подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.
Все в копеечной цене.
Съехал сдуру разум.
Молвит баба:
— Дайте мне
всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то
просит счет
бабин голос слабый.

Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром.
С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.

Отскочил хозяин.
— Нет!
(Бледность мелом в роже.)
— Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже.—
Завопил хозяин лют:
— Знаешь разницу валют?!
Беспортошных нету тут,
генералы тута пьют!—
Возопил хозяин в яри:
— Это, тетка, что же!
Этак
каждый пролетарий
жрать захочет тоже.—
— Будешь знать, как есть и пить!—
все завыли в злости.
Стал хозяин тетку бить,
метрдотель
и гости.

Околоточный
на шум
прибежал из части

Взвыла баба:
— Ой,
прошу,
защитите, власти! —
Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...
Как полезла
мигом
вся
вспять
из бабы пища.
— Много,— молвит,— благ в Крыму —
только для буржуя,
а тебя,
мою куму,
в часть препровожу я. —
Влезла
тетка
в скороход
пред тюремной дверью,
как задала тетка ход —
в Эрэсэфэсэрью.
Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
в том раю
сами побывать ли?!

(1920)

ВСЕМ ТИТАМ И ВЛАСАМ РСФСР

По хлебным пусть местам летит,
пусть льется песня басом.
Два брата жили. Старший Тит
жил с младшим братом Власом.

Был у крестьян у этих дом
превыше всех домишек.
За домом был амбар, и в нем
всегда был хлеба лишек.

Был младший Влас умен и тих.
А Тит был глуп, как камень.
Изба раз расползлась у них,
пол гнется под ногами.

„Смерть без гвоздей, — промолвил Тит,—
хоша миллион заплотишь,
не то что хату сколотить,
и гроб не заколотишь".

Тит горько плачет без гвоздей,
а Влас обдумал случай
и рек: „Чем зря искать везде,
езжай, брат, в город лучше".

Телега молнией летит.
Тит снарядился скоро.
Гвоздэй достать поехал Тит
в большой соседний город.

Приехал в этот город Тит
и с грустью смотрит сильной:
труба чего-то не коптит
над фабрикой гвоздильной.

Вбегает за гвоздями Тит,
но в мастерской холодной
рабочий зря без дел сидит, —
„Я, — говорит, — голодный.

Дай, Тит, рабочим хлеб взаймы,
мы здесь сидим не жравши,
а долг вернем гвоздями мы
крестьянам, хлеба давшим".

Взъярился Тит: — „Не дам, не дам
я хлеба дармоеду.
Не дам я хлеба городам
и без гвоздя доеду".

В село обратно Тит летит, —
от бега от такого
свалился конь. И видит Тит —
оторвалась подкова.

Пустяк ее приколотить,
да нету ни гвоздишка.

И стал в лесу в ночевку Тит,
и Тит, и лошадишка.

Нет ни коня, ни Тита нет...
Селом ходили толки,
что этих двух во цвете лет
в лесу сожрали волки.

Телега снова собралась.
Не вспомнив Тита даже,
в соседний город гонит Влас,
нельзя им без гвоздя же.

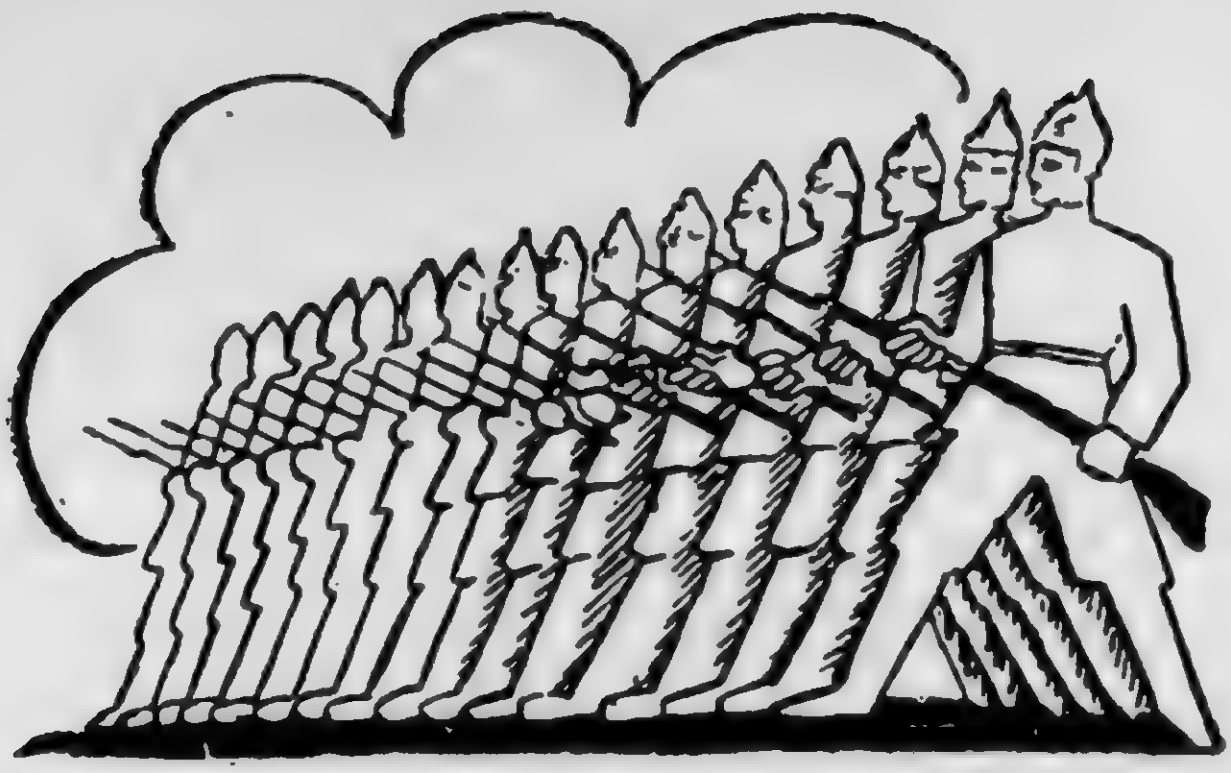
Вбежал в гвоздильню умный Влас,
рабочий дышит еле.
„Коль хлеб не получу от вас,—
умру в конце недели".

Влас молвил, Тита поумней:
„Ну, что ж, бери, родимый,
наделаешь гвоздей и мне
ужо заплатишь ими".

Рабочий сыт, во весь свой пыл
в трубу дымище гонит.
Плуги, и гвозди, и серпы
деревне мчит в вагоне.

Ясней сей песни нет, ей-ей,
кривые бросим толки.
Везите, братцы, хлеб скорей,—
чтоб вас не съели волки.

(1920)



СКАЗКА О ДЕЗЕРТИРЕ,

УСТРОИВШЕМСЯ НЕДУРНЕНЬКО, И О ТОМ, КАКАЯ УЧАСТЬ ПОСТИГЛА ЕГО САМОГО И СЕМЬЮ ШКУРНИКА

Хоть пока
победила
крестьянская рать,
хоть пока
на границах мир,
но не время
еще
в землю штык втыкать,
красных армий
ряды крепи!
Чтоб вовеки
не смел
никакой Керзон
брать на-пушку,
горланить ноты, —

даже землю паша,
помни
сабельный звон,
помни
марш
атакующей
роты.
Молодцом
на коня боевого влазь,
по земле
пехотинься пеший.
С неба
землю всю
глазами оглазь,
на железного
коршуна
севши.
Мир пока,
но на страже
красных годов
стой
на нашей
красной вышке.
Будь смел!
Будь умел.
Будь
всегда
готов
первым
ринуться
в первой вспышке.
Кто
из вас
не крещен
военным огнем,

кто считает,
что шкурнику
лучше?
Прочитай про это,
подумай о нем,
вникни
в этот сказочный случай.

Защищая
рабоче-крестьянскую Русь,
встали
фронтами
красноармейцы.
Но — как в стаде
овца паршивая —
трус
и меж их
рядами
имеется.

Жил
в одном во полку
Силеверст Рябой.
Голова у Рябого —
пробкова.

Чуть пойдет
наш полк
против белых
в бой,
а его
и не видно,
робкого.

Дело ясное:
бьется рать
горяча
против
барско-буржуйского ига.

У Рябого ж
слово одно:
„Для ча
буду
я
на рожон прыгать?“

Встал стеною полк,
фронт раскинул
свой.
Силеверст
стоит в карауле.

Подымает
пуля за пулей
вой.
Силеверст
испугался пули.

Дома
печь да щи.

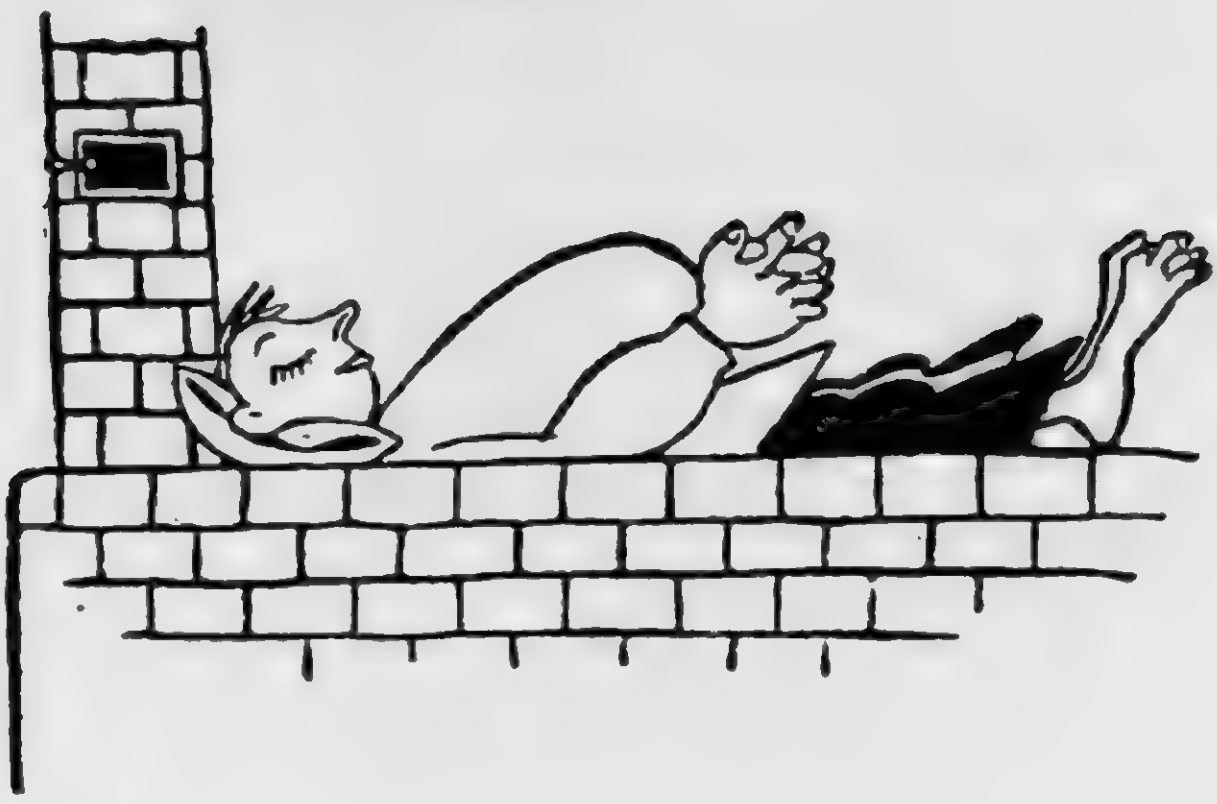
Замечтал
Силеверст.
Бабья
рожа
встала
из воздуха.

Да как дернет Рябой!
Чуть не тысячу верст
пробежал
без единого
роздыха.

Вот и холм,
и там
и дом за холмом,
будет
дома
в скором времечке.
Вот и холм пробежал,
вот плетень
и дом,
вот
жена его
лускает
семечки.

Прибежал,
пошел лобызаться
с женой,
чаю выдул —
стаканов до тыщи;
задремал,
заснул
и храпит,
как Ной,—

с ГПУ
и то
не сыщешь.



А на фронте
враг
видит:
полк с дырой,
враг
пролазит
щелью этою.
А за ним
и золотозадый
рой
лезет в дырку,
блестит эполетою.

Поп,
урядник —
сивуха
течет по усам,
с ним —
петля
и прочие вещи.
Между ними —
царь
самодержец сам,
за царем —
кулак
да помещик.
Лезут,
в радости
аж не чуют ног,

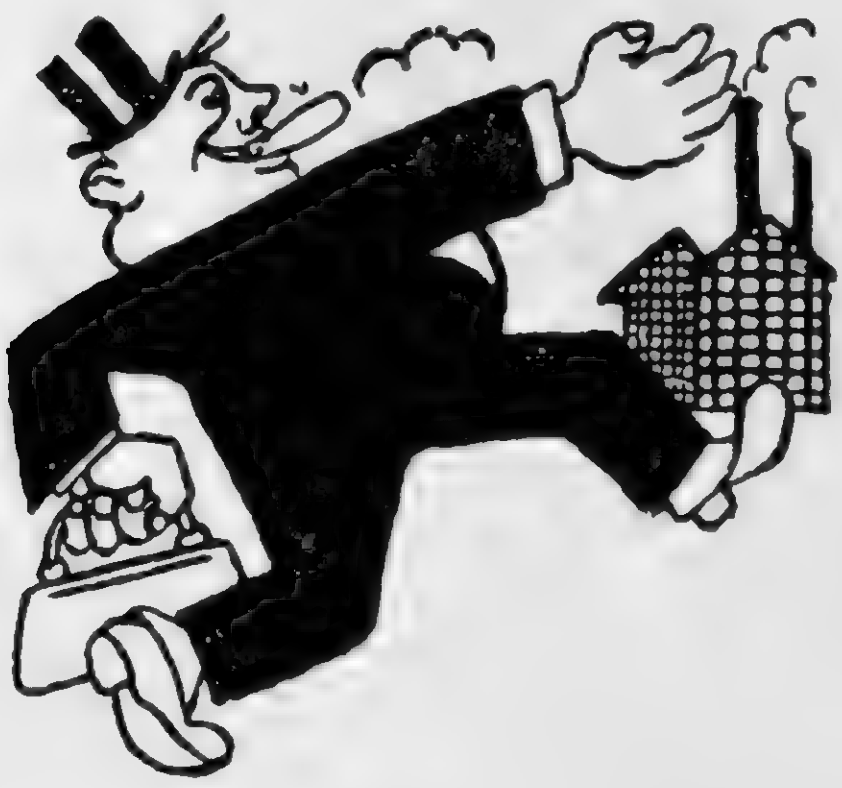
где
и сколько занято мест имя?!
Пролетария
гнут в бараний рог,

сыпят
в спину крестьян
манифестами.

Отошла
земля
к живоглотам
назад,
наложили
наложища
тяжкие.

Лишь свистит
в урядничьей ручке
лоза —
знай всыпает
и в спину,
и в ляжки.

Улизнувшие
бары
едут в дом.



Мчит буржуй.
Не видали три года, никак.

Снова
школьника
поп
обучает крестом —
уважать заставляет
угодников.

В то село пришли,
где храпел
Силеверст.
Видят —
выглядит
дом
аккуратненько.

Тычет
в хату Рябого
исправничий
перст,
посылает занять
урядника.

Дурню
снится сон:
де в раю живет,
и галушки
лопает тыщами.

Вдруг
как хватит
его
крокодил
за живот!

То урядник
хватил
сапожищами.
„Как ты смеешь спать,
таксй-рассякой!
Мать твою растак
да разэтак!

Я тебя запорю,
я тебя засеку
и повешу
тебя
напоследок!" —

„Барин!" —
взвыл Силеверст,
а его
кнутом
хвать помещик
по сытой роже.
„Подавай
и себя,
и поля,
и дом,
и жену
помещику
тоже!"
И пошел
прошибать
Силеверста
пот,

вновь
припомнил
барщины мýку,
а жена его
на дворе
у господ

грудью
кормит
барскую суку.

Сей истории
прост
и ясен сказ —
посмотри,
как наказаны дурни.
Чтобы то же
не стряслось и у вас,
да не будет
меж вами
шкурник.

Нынче
сына
даем
не царям на зарез—
за себя
этот бойце
начат.
Провожая
рекрутов
молодолес,
провожай поя,
а не плача.
Чтоб помещики
вновь
не взнуздали вас,
не в пример
Силеверсту бедняге,—
провожая
сынов,
давайте наказ:
будьте
верными
красной присяге.

(1921)

О ДРЯНИ

Слава, слава, слава героям!!!
Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
„Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!"
А Надя:
„И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня

буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!“
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На „Известиях“ лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
„Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!“

(1921)

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня чорт
писать один отчет.
„Что это такое?"—
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну что отвечу ей?!
Чорт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.

Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к этим числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревем,
рамки арифметики, разумеется, узки, —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
„Электрификация“?! — масштаб всероссийский.
„Чистка“! — во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
— четырехлетний навык! —
тащусь меж канавищ,

канав,
канавок.
И то
— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня,
и власти крыла.
Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе!

(1921)

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные!—
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
„Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на“.—
„Товарищ Иван Ваныч ушли заседать—
Объединение Тео и Гукона“.
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
„Через час велели притти вам.

Заседают:—
покупка склянки чернил
Губкооперативом".

Через час
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
„Пришел товарищ Иван Ваныч?"—
„На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома".

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О, дьявольщина!
Где же половина другая?
„Зарезали!
Убили!"
Мечусь оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
„Они на двух заседаниях сразу.
В день

заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться!
До пояса здесь,
а остальное
там".

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
„О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!"

(1922)

КОМУ И НА КОЙ ЛЯД ЦЕЛОВАЛЬНЫЙ ОБРЯД?

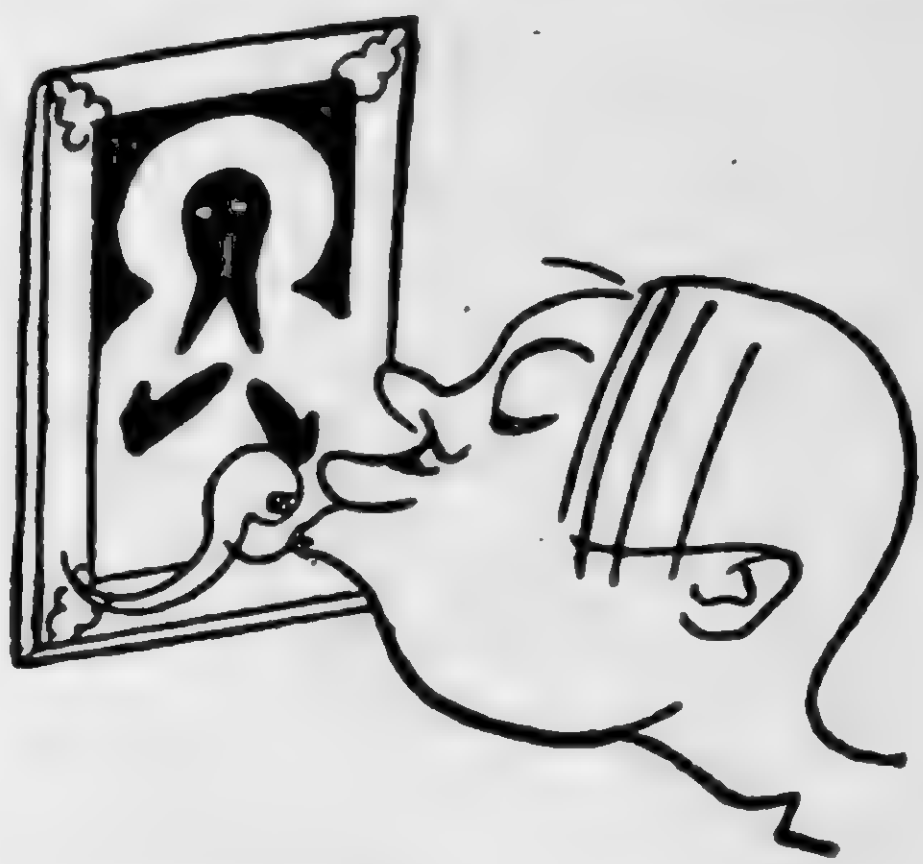
Верующий крестьянин
или неверующий,
надо или не надо,
но всегда
норовит
выполнять обряды.

В церковь упираются
или в красный угол,
крестятся,
пялят глаза,—

а потом
норовят облизать друг друга
или лапу поповскую,
или образа.
Шел
через деревню
прыщастый калека.
Калеке б этому —
нужен лекарь.

А калека фыркает:
„Поможет бог".
Остановился у образа —
и в образ чмок.
Присосался к иконе
долго и гильно.
И пока
выпячивал губищи грязные,
с губищ
на образ
вползла бациллина —
заразная.
Посидела малость
и заразмножалась.

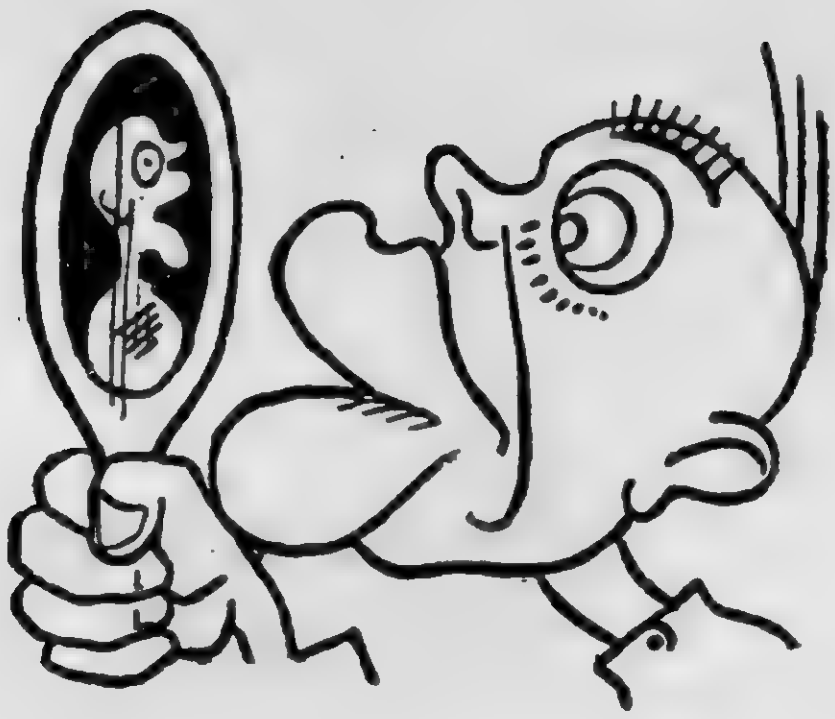
А через минуту,
гуляя
ради
престольного праздника,
Вавила Грязнушкин,
стоеросовый дядя,
остановился
и закрестился у иконы грязненькой.



Покончив с аллилуями,
будто вошь,
в икону
Вавила
вцепился поцелуями,
да так сильно,
что за фалды не оторвешь.
Минут пять
бациллы
переползали
с иконы
на губу Вавилы.
Помолился
и понес бациллы Грязнушкин.

Радостный идет,
аж сияют веснушки.
Идет.
Из-за хаты
перед Вавилою
встала Маша —
Вавилина милая.
Ради праздника
не на шутку
впился Вавила
губами
в Машутку.
Должно быть, с дюжину
бацилла за бациллой
переползали в уста милой.
Вавила
сияет,
аж глазу больно,
вскорости свадьбу рисует разум.
Навстречу кум.
„Облобызаемся
по случаю престольного!"
Облобызались,
и куму
передал
заразу.
Пришел домой,
семью скликал
и всех перелобызал —
от мала до велика.
До того разлобызался в этом году,

что даже
пса
Полкана
лобызнул на ходу.
В общей сложности,
ни много, ни мало,—
слушайте,
на слово веря,—
человек полтораста налобызал он
и
одного зверя.
А те
сразу
в свою очередь
передали —
кто мамаше,
кто сыну,
кто дочери.
Через день
ночью
проснулся Вавила,
будто
губу ему
колесом придавило.
Глянул в зеркало.
Крестная сила!
От уха до уха
губу перекосило.
А уже
и мамаша
зеркало ищет.
„Что это,— говорит,—
как гора
губища?"



Один за другим выползает родич.
У родичей
губы
галоши вроде.
Вид у родичей —
не родичи,
а уродичи.
Полкан
и тот,
рыча,
перекатывается
и рвет губу с плеча.
Лизнул кота.
Болезнь ту
передал коту.
Мяукает кот,
пищит и носится.
Из-за губы
не видно переносицы.
К утру взвыло все село, —
полсела
в могилы свело.

Лишь пес
да кот
выжили еле.
И то —
окривели.
Осталось
от деревни
только человек двадцать —
не верили,
не прикладывались,
не желали лобызаться.
Через год
объяснил
доктор один им,
что село
переболело
нарывом лошадиным.
Крестьяне,
коль вывод не сделаете сами, —
вот он:
у образов не стойте разинями,
губой
не елозьте грязными образами,
не христосуйтесь —
и не будете
кобылогубыми образинами.

(1922)

КРЕСТЬЯНЕ,
СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ РАДИ
ПОЙМИТЕ—
ДЕЛО НЕ В ОБРЯДЕ

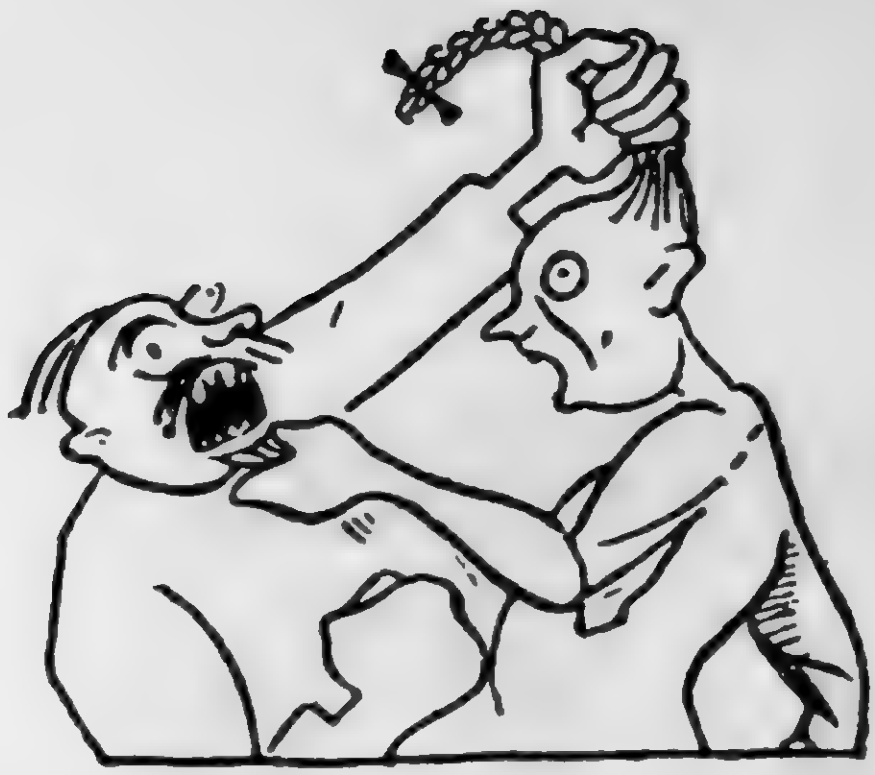
Известно,
у глупого человека
в мозгах вывих:
чуть что —
зовет долгогривых.
Думает,
если попу
как следует дать,
сейчас же
на крестьянина
спускается благодать.
Эй, мужики!
Эй, бабы!
В удивлении разиньте рот.
Убедится
даже тот,
кто мозгами слабый,

что дело —
наоборот.

Жила-была
Анюта красавица.
Красавице
красавец Петя нравится.
Но папаша Анютки
говорит:
„Дудки".
Да и мать Анютина
глядит крокодилицей.
Словом,
кадилу в церквах не кадилиться,
свадьбе не бывать.
Хоть Анюта и хороша,
и Петя неплох,
да за душой —
ни гроша.
Ждут родители,
на примете у них —
Сапрон жених.
Хоть Сапрону
шестьдесят с хвостом,
да в кубышке
миллиардов сто.
Словом,
не слушая Анютиного вою,
окружили Анюту у аналоя,
и пошел у них
„законный брак" —
избу
разрывает от визга и драк.

Хоть и крест целовали, на попа глядя,
хоть кружились
по церкви
в православном обряде,

да Сапрону,
злея со дня на день,
рвет
жена
волосенок пряди.
Да и Анюту
Сапрон
измочалил в лоскут —
вырывает косу
ежеминутно по волоску.
То муж — хлоп,
то жена — хлоп.
Через месяц —
каждый,
как свеча тонкий.
А через год
легли супруги в гроб:



жена без косы,
муж без бороденки.
А Петр
впал в скуку,
пыткой кипятился в собственном соку
и наконец
наложил на сєбя руку:
повесился
на первом суку.
В конце ж моей стихотворной повести
и родители
утопились
от угрызения совести.
Лафа от этого
одному попику.
Слоновье пузо,
от даяний окреп,
знай выколачивает
из бутылей
пробки,
самогоном требует за выполнение треб.

А рядом
жили Иван да Марья —

грамотеи ярые.
Полюбились
и, не слушая родственной рати,
пошли
и записались
в комиссариате.
Хоть венчанье
обошлось без ангельских рож,
а брак
такой,
что водой не разольешь.
Куда церковный!
Любовью,
что цепью, друг с другом скованы.
А родители
только издали любуются ими.
Наконец пришли:
„Простите,
дураки мы.
И на носу зарубим
и в памяти:
за счастьем
незачем к попам итти".

(1922)

О „ФИАСКАХ", „АПОГЕЯХ"
И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ

На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена:
„Газетчики,
думайте о форме!"
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной
формы.
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте,—
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают:
Прочли:
„Пуанкаре терпит фиаско".
Задумались,
что это за „фиаска" за такая?
Из-за этой „фиаски"

грамотей Ванюха
чуть не разодрался:
— Слушай, Петь,
с „фиаской“ востро держи ухо:
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи,
Даже Стиннеса —
и то!—
прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит — богаче.
Американец, должно.
Понимаешь, дура?!—

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидывая картуз,
его называли
— Господином фиаской.

Последние известия получили красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
— О французском наступлении в Руре имеется?
— Да, вот написано:
„Дошли до своего апогея“.
— Товарищ Иванов!
ты ближе.
Эй!
На карту глянь!

Что за место такое:
А-п-о-г-е-й? —
Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел,
каждое село.
„Эссен есть,—
Апогея нету!
Деревушка махонькая, должно быть, это.
Верчусь,—
аж дыру провертел в сапоге я,—
не могу найти никакого Апогея".
Казарма
малость
посовещалась.
Наконец
товарищ Петров взял слово:
— Сказано: до своего дошли —
ведь не до чужого.
Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
своего „апогея" никому не отдадим,
а чужих „апогеев" нам не надо.

Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже.
То, что годится для иностранного словаря,
газете — не гоже.

(1923)

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.
Вероятно —
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната —
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно беспокоен.
А ведь откровенно говоря —
совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
так-то оно так.
Солнце посветит —
и пройдет мимо.
А вот попробуй —
от окна оттяни кота.

А если и животное интересуется
улицей,
то мне
это —
просто необходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
не в силах...
не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?!
И за шиворот
и по носу
каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически —
куда хочешь итти можно,
но фактически —
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
„самогон — большое зло".
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искрапили,

приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились —
нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать —
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.
Наблюдают —
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры
Ну, не знаю что —
например:
выбрать день
самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.
Например:
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора

в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.

(1923)

ПРОТЕСТУЮ!

Я
ненавижу
человечье устройство,
ненавижу организацию,
вид
и рост его.
На что похожи
руки наши?..
Разве так
машина
уважаемая
машет?..
Представьте,
если б
шатунов шатия
чуть что —
лезла в рукопожатия.
Я вот
хожу
весел и высок.
Прострелят,
и конец —
не вставишь висок.

Не завидую
ни Пушкину,
ни Шекспиру Биллю.
Завидую
только
блиндированному автомобилю.
Мозг
нагрузишь
до крохотной нагрузки,
и уже
захотелось
поэзии...
музыки...
Если б в понедельник
паровозы
не вылезли, болея
с перепоя
в честь
поэтического юбилея...
Даже если
не брать уродов,
больных,
залегших
под груду одеял,—
то даже
прелестнейший
товарищ Родов
тоже
еще для Коммуны не идеал.
Я против времени,
убийцы вороватого.
Сколькие
в землю
часами вогнаны.

Почему
болезнь
сковала Арватова?
Почему
безудержно
пишут Коганы?
Довольно!—
зевать нечего:
переиначьте
конструкцию
рода человечьего!
Тот человек,
в котором
цистерной энергия—
не стопкой;
который
сердце
заменил мотором;
который
заменит
легкие—топкой.
Пусть сердце,
даже душа,
но такая,
чтоб жила,
паровозом дыша,
никакой
весне
никак не потакая.
Чтоб утром
весело
стряхнуть сон.

Не о чем мечтать,
гордиться нечего.
Зубчиком
вхожу
в зубчатое колесо,
и пошел
заверчивать.
Оттрудясь,
развлекаться
не чаплинской лентой,
не в горелках резвясь,
натыкаясь на грабли,—
отдыхать,
в небеса вбегая ракетой.
Сам начертил
и вертись в параболе.

(1924)

НА УЧЕТ
КАЖДАЯ МЕЛОЧИШКА

(ПАРА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ)

ПЕРВОЕ

Поэта
интересуют
и мелкие фактцы.
С чего начать?
Начну с того,
как рабфаковцы
меня
хотели качать.
Засучили рукав,
оголили руку
и хвать
кто за шиворот,
а кто за брюку.
Я
отбился
ударами ног,
но другому, —
маленькому —
свернули таки позвонок.

Будучи спущенным,
подкинутый сто крат,
напомню,
что сказал
ученикам Сократ.
Однажды,
после
Сокрачьего выступления,
лошадям
не доверяя
драгоценного груза,
сами —
в коляску
впряглись в исступлении
студенты
какого-то
помпейского вуза.
Студенты скакали
и делали стойку;
Сократ
разглядывал
Кентаврью стайку.
Доехал
спокойно
на зависть стоику,
сказал,
поднесши
к кепке лайку:
— А все-таки
с лошадью конкурировать
не можете!..
Правильно
правоверным
изрек Аллах:

мною
для того же
изобретены лошади,
чтоб мы
ездили
на них,
а не на ослах. —
Пример неподходящий,
спорить нечего;
но все же
его
запомните крепче,
чтоб в вас
ничем
никогда не просвечивал
прошлый
белоподкладочный
мышиный жеребчик.
Каждую мелочь
мерь,
держи
восторгов елей!
Быт
не прет в дверь, —
быт
ползет
из щелей.
Затянет
тинкой зыбей,
слабых
собьет с копыт.
Отбивайся,
крепись,
бей
быт!

ВТОРОЕ

Рабфаковка
у меня
попросила портрет;
в этом
особенно плохого
нет.
Даже весело:
пришла
и повесила.
Утром поглядела, —
стена громада,
а Маяковский
маленький;
других бы надо!
Купила Шелли;
повесила.
Красивый —
оторвешься еле.
Купила Бетховена,
взяла Шаляпина...
Скоро
вся стена заляпана.
Вроде
Третьяковской галлереи.
Благочинные живописи,
поэзии иереи.
На стенках
картинки
лестничками и веерами;
появились
какие-то
бородастые
в раме.

Вскоре
новое горе.
Открытки
между гравюрами,
как маленькие точки.
Пришлось
их
обфестонить в фестончики.
Наутро
осмотрела: вместе
серó-с.
Пришлось
накупить
бумажных роз.
Уже
о работе
никаких дум,
смотри,
чтоб в уголочках
не откнопились кнопки.
Одни
стихи
и лезут на ум;
бубнит
не хуже
дрессированного попки.
Особенно,
если лунища
припустит сиять, —
сидит
и млеет,
не сводя глаз:
ни дать ни взять
иконостас.

Ставлю вопрос
справедливый,
но колкий:
Деточка,
чем вы лучше
кухарки-богомолки?!!
Хуже ангела,
скулящего
в божьем клире,
лушу
разъедает
бездельник лирик!
Каждую мелочь
мерь,
держи
восторгов елей...
Быт
не прет в дверь, —
быт
ползет
из щелей!
Затянет
тинкой зыбéй,
слабых
собьет с копыт.
Отбивайся,
крепись,
бей
быт!

(1921)

КРАСНОДАР

Северяне вам наврали
о свирепости февральей:
про метели,
про заносы,
про мороз грозоносый.
Солнце жжет Краснодар,
словно щек краснота.
Красота!
Вымыл все февраль
и вымел —
не февраль,
а прачка,
и гуляет
мостовыми
разная собачка.
Подпрыгивают фоксы —
показывают фокусы.
Кроме лапок,
вся как вакса,
низко пузом стелется,

волочит
вразвалку
такса
длинненькое тельце.
Бегут,
трусят дворняжечки —
мохнатенькие ляжечки.
Лайка
лает,
взвивши нос,
на прохожих Ванечек;
пес такой
уже не пес,
это —
одуванчик.
Легаши,
сетера,
мопсики, этцетера.
Даже
если
пара луж,
в лужах
сотня солнц юлится.
Это ж
не собачья глушь,
а собачкина столица.

(1926)

Рисунки В. Маяковского (из писем)

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Погода такая,
что маю впору,
май —
ерунда.
Настоящее лето.
Радуешься всему:
носильщику,
контролеру
билетов.
Руку
само
подымает перо,
и сердце
вскипает
песенным даром.
В рай
готов
расписать перрон
Краснодара.
Тут бы
запеть
соловью-трелёру.

Настроение —
китайская чайница!
И вдруг
на стене:
— Задавать вопросы
контролеру
строго воспрещается! —
И сразу
сердце за удила.
Соловьев
камнями с ветки.
А хочется спросить:
— Ну как дела?
Как здоровьице?
Как детки? —
Прошел я,
глаза
к земле низя́,
только подхихикнул,
ища покровительства.
И хочется задать вопрос,
а нельзя —
еще обидятся:
правительство!

(1926)

ПРОТЕКЦИЯ

ОБЫВАТЕЛИАДА В ТРЕХ ЧАСТЯХ

I

Обыватель Михин —
друг дворничихин.
Дворник Службин
с Фелицией в дружбе.
У тети Фелиции
лицо в милиции.
Квартхоз милиции
Федор Овечко
имеет
в совете
нужного человечка.
Чин лица
не упомнишь никак:
главшвейцар
или помистопника.
А этому чину
домами знакома
мамаша
машинистки секретаря райкома.

У дочки ее
большущие связи:
друг во ВЦИКе
(шофер в автобазе!),
а Петров, говорят,
развозит мужчину,
о котором
все говорят шепоточком —
маленького роста,
огромного чина.
Словом —
он...
Не решаюсь...
Точка.

II

Тихий Михин
пойдет к дворничихе.
„Прошу покорненько,
попросите дворника".
Дворник стукнется
к тетке заступнице.
Тетка Фелиция
шушукнет в милиции.
Квартхоз Овечко
замолвит словечко.
А главшвейцар,—
Да Винчи с лица,
весь в бороде,
— как картина в раме,—
прямо
пойдет
к машинисткиной маме.

Просьбу
дочь
предает огласке:
глазки да ласки,
ласки да глазки...
Кого не уловишь на такую аферу?
Куда ж удержаться простаку шоферу!
Петров подождет,
покамест,
как солнце,
персонье лицо расперсонится.
„Простите, товарищ,
извинений тысячка...“
И просит,
и молит, ласковей лани.
И чин снисходит:
— Вот вам записочка.
А в записке —
исполнение всех желаний. —

III

А попробуй —
полазий
без родственных связей!
Покроют дворники
словом черненьким.
Обложит белолицая
тетя Фелиция.
Подвернется нога,
перервутся нервы
у взвидевших наган
и усы милиционеровы.

В швейцарской судачат:
— И не лезь к совету:
все на даче,
никого нету.—
И мама сама
и дитя машинистка,
невинность блюдя,
не допустят близко.
А разных главных
неуловимо
шоферы
возят и возят мимо.
Не ухватишь —
скользкие,—
не люди, а налимы.
„Без доклада воспрещается“.
Куда ни глянь,—
„и пойдут они, солнцем палимы,
и застонут...“
Дело дрянь!
Кто бы ни были
сему виновниками,—
сошка маленькая
или крупный кит,—
разорвем
сплетенную чиновниками
паутину кумовства,
протекций,
волокит.

(1926)

ЛЮБОВЬ

Мир
опять
цветами оброс,
у мира
весенний вид.
И вновь
встает
нерешенный вопрос —
о женщинах
и о любви.
Мы любим парад,
нарядную песню.
Говорим красиво,
выходя на митинг.
Но часто
под этим
покрытый плесенью,
старенький-старенький бытик.
Поет на собраньи:
„Вперед, товарищи..."
А дома,
забыв об арии сольной,

орет на жену,
что щи не в наваре
и что
огурцы
плоховато просолены.
Живет с другой —
киоск в ширину,
бельем —
шантанная дива.
Но тонким чулком
попрекает жену:
— Компрометируешь
перед коллективом. —
То лезут к любой,
была бы с ногами.
Пять баб
переменит
в течение суток.
У нас, мол,
свобода,
а не моногамия.
Долой мещанство
и предрассудок.
С цветка на цветок
молодым стрекозлом
порхает,
летает
и мечется.
Одно ему
в мире
кажется злом —
это
алиментщица.

Он рад умереть,
экономя треть,
три года
судиться рад:
и я, мол, не я,
и она не моя,
и я вообще
кастрат.
А любят —
так будь
монашенкой верной, —
тиранит
ревностью
всякий пустяк
и мерит
любовь
на калибр револьверный,
неверной
в затылок
пулю пустя.
Четвертый —
герой десятка сражений,
а так,
что любо-дорого,
бежит
в перепуге
от туфли жениной,
простой туфли Мосторга.
А другой
стрелу любви
иначе метит,
путает —
ребенок этакий —

уловленье
любимой
в романические сети
с повышеньем
подчиненной по тарифной сетке...
По женской линии
тоже вам не райские скинии.
Простенького паренька
подцепила
барынька.
Он работать,
а ее
не удержать никак,—
бегает за клешем
каждого бульварника.
Что ж,
сиди
и в плаче
Нилом нильсй?
Ишь,
жених!
Для кого ж я, милые, женился?
Для себя —
или для них?
У родителей
и дети этакого сорта:
— Что родители?
и мы
не хуже, мол! —
Занимаются
любовью в виде спорта,
не успев
вписаться в комсомол.

И дальше,
к деревне
быт без движеньица —
живут, как и раньше,
из года в год.
Вот так же
замуж выходят
и женятся,
как покупают
рабочий скот.
Если будет
длиться так,
за годом годик,
то,
скажу вам прямо,
не сумеет
разобрать
и брачный кодекс,
где отец и дочь,
который сын и мама.
Я не за семью.
В огне
и в дыме синем
выгори
и этого старья кусок,
где шипели
матери-гусыни
и детей
стерег
отец-гусак!
Нет!
Но мы живем коммуной
плотно,

в общежитиях
грязнеет кожа тел.
Надо
голос
подымать за чистоплотность
отношений наших
и любовных дел.
Не отвиливай —
мол, я не венчан.
Нас
не поп скрепляет тарабарящий.
Надо
обвязать
и жизнь мужчин и женщин
словом,
нас объединяющим:
— „Товарищи".

(1926)

УЖАСАЮЩАЯ ФАМИЛЬЯРНОСТЬ

Куда бы
ты
ни направил разбег,
и как ни ерзай,
и где ногой не ступи,—
есть Марксов проспект,
и улица Розы,
и Луначарского
переулок или тупик.
Где я?
в Ялте или в Туле?
Я в Москве
или в Казани?
Разберешься!
Чорта в стуле!
Не езда, а — наказанье.
Каждый дюйм
бытия земного
профамилиен
и разыменован.
В голове
от имен
такая каша!

Как общий котел пехотного полка.
Даже пса-дворняжку
вместо
„Полкаша“
зовут:
„собака имени Полкан“.
„Крем Коллонтай. Молодит и холит!“
„Гребенки Мейерхольд“.
„Мочала
а ля Качалов“.
„Гигиенические подтяжки
имени Семашки“.
После этого
гуди во все моторы,
наизобретай идей мешок,
все равно —
про Мейерхольда будут спрашивать:
„Который?
Это тот, который гребешок?“ —
Я
к великим
не суюсь в почетнейшие лики.
Я солдат
в шеренге миллиардной.
Но и я
взываю к вам
от всех великих:
— Милые,
не обращайтесь с ними фамильярно! —

(1926)

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Я
два месяца
шатался по природе,
чтоб смотреть цветы
и звезд огнишки.
Таковых не видел.
Вся природа вроде
телефонной книжки.
Везде —
у скал,
на массивном грузе
Кавказа
и Крыма скалоликого,
на стенах уборных,
на небе,
на пузе
лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где гро́зы
гремят,
грома потрясав, —

везде
отрывки стихов и прозы,
фамилии
и адреса.
„Здесь были Соня и Ваня Хайлов.
Семейство ело и отдыхало".
„Коля и Зина
соединили души".
Стрела
и сердце
в виде груши.
„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис".
„Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога".
На кипарисе,
стоящем века,
весь алфавит:
абвгдежзк.
А у этого
от лазанья
талант иссяк.
Превыше орлиных зон
просто и мило:
„Исак
Лебензон".
Особенно
людей
винить не будем.
Таким нельзя
без фамилий и дат!
Всю жизнь канцелярствовали,
привыкли люди.

Они
и на скалу
глядят, как на мандат.
Такому,
глядящему
за чаем
с балконца,
как солнце
садится в чаще,
ни восход,
ни закат,
а даже солнце —
входящее
и исходящее.
Эх!
поставь меня
часок
на место Рыкова,
я б
к весне
декрет железный выковал:
„По фамилиям
на стволах и ска́лах
узнать
подписавшихся малых.
Каждому
в лапки
дать по тряпке.
За спину ведра,
и марш бодро!
Подписавшимся
и Колям
и Зинам

собственные имена
стирать бензином.
А чтоб энергия
не пропадала даром,
кстати и Ай-Петри
почистить скипидаром.
А кто
до того
к подписям привык,
что снова
к скале полез,—
у того
навсегда
закрывается лик-
без".
Под декретом подпись
и росчерк броский,—

Владимир Маяковский

(1926)

МЕЧТА ПОЭТА

Поэзия
любит
в мистику облекаться,
говорить
о вещах
едва касаемо.
Я ж
открыто
агитирую
за покупку облигаций
государственного
выигрышного займа.
Обсудим трезво,
выгодно ль это?
Предположим,
выиграл я:
во всех журналах —
мои портреты.
Я
и моя семья.
Это ж не шутки —

стать
знаменитостью
в какие-то сутки!
Широкая известность
на много лет.
За что?
Всего —
за четвертной билет.
Всей облигации
цена сторублевка,
но до чего ж
Наркомфин
придумал ловко!
Нету ста —
не скули
и не ной,
четверть облигации бери
за четвертной.
Четвертной не сбережете,
карманы жжет.
Кто
без облигации
четвертной сбережет?
Приходится считать
восторженно и пылко,
что облигация
каждому —
лучшая копилка.
И так
в копилку
хитро положено,
что проиграть нельзя,
а выиграть —
можно.

Разве
сравнишь
с игрою с этакой
продувную железку
с бандитской рулеткой!
А не выиграю —
тоже не впаду в раж,
через 3 месяца —
новый тираж.
А выигрышей!
Не вычерпаешь —
хоть ведрами лей.
Больше
30 000 000 рублей.
Сто тысяч выиграю
(верю счастью!)
и марш
в банк
за своею частью.
И мне
отслюнивают
с правого кончика
две с половиной тысячи
червончиков.
Сейчас же,
почти не отходя от кассы,
вещей приобретаю
груды и массы!
Тут же покупается
(нужно или не нужно)
шуба
и меховых воротничков дюжина.
Сапог понакуплю —
невиданный сон!

На любой размер
и любой фасон!
За покупками
по Москве по всей
разъезжусь
весь день,
не вылезая из таксей.
Оборудую
мастерскую
высокого качества
для производства
самого лучшего стихачества.
Жилплощадь куплю
и заживу на ней
один!
на все на двадцать саженей!!
И вдруг
звонок:
приходит некто:
— Пожалте бриться,
я — фининспектор! —
А я
ему:
— Простите, гражданинчик,
прошу
со мной
выражаться ́иначе.
Уйдите,
свои портфели забрав,
выигрыш
облагать
не имеете прав! —

И выиграй
я
хотя с миллион,
от меня
фининспектор
уйдет посрамлен.
Выигрыш —
другим делам
не чета.
Вот это
поэты
и называют:
мечта!
Словом,
в мистику
нечего облекаться.
Это —
каждого
вплотную касаемо.
Пойдем
и просто
купим облигации
государственного
выигрышного займа.

(1926)

ИСКУССТВЕННЫЕ ЛЮДИ

Этими —
и добрыми,
и кобры лютей,—
Союз
до краев загружон.
Кто делает
этих
искусственных людей?
Какой нагруженный Гужон?
Чтоб долго
не размусоливать
этой темы
(ни зол,
ни рад),
сбъективно
опишу человека —
системы
„бюрократ".
Сверху — лысина,
пятки — низом,—
организм как организм.

Но внутри
вместо голоса —
аппарат для рожений
некоторых выражений.
Разлад в предприятии — грохочет адом,
буза и крик.
А этот, как сова.
Два словца изрыгает:
— Надо
согласовать! —
Учрежденья объяты ленью.
Заменили дело канителью длинною.
А этот
отвечает
любому заявлению:
— Ничего,
выравниваем линию.
Надо геройство,
надо умение,
чтоб выплыть
из канцелярщины вязкой,
а этот
жмет плечьми в недоумении:
— Неувязка! —
Из зава трестом
прямо в воры
лезет
пройдоха и выжига,
а этот
изрекает
со спокойствием рыб:
— Продвижка! —

Разлазится все,
аппарат — вразброд,
а этот,
куря и позевывая,
с достоинством
мямлит
во весь свой рот:
— Использовываем. —
Тут надо
видеть
вражьи войска,
надо
руководить прицелом,—
а этот
про все
твердит с высока:
— В общем и целом. —

Тут не приходится в кулак свистеть,
как пишется
в стенгазетных листах:
„Уничтожим это —
если не везде,
то во всех местах".

(1926)

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ВАНЯ ДЫЛДИН

Подмастерье
Ваня Дылдин
был
собою
очень виден.
Рост
(длинней моих стишков!)
сажень
без пяти вершков.
Силища!
За ножку взяв,
поднял
раз
железный шкаф.
Только
зря у парня сила:
глупый парень
да бузила.
Выйдет,
выпив всю пивную, —
переулок
врассыпную!

Псы и кошки
скачут прытки,
скачут люди за калитки.
Ходит
весел и вихраст,
что ни слово —
„в морду хряст".
Не сказать о нем двояко.
Общий толк о нем —
— воякa!

Шла дорога милого
через Драгомилово.
На стене —
бумажный лист.
Огорчился скандалист.
Клок бумаги,
а на ней
велено:
призвать парней!

„Меж штыков острых
наш Союз —
остров.
Чтоб сломить
врагов окружие,
надобно
владеть оружием.
Каждому,
как клюква, ясно:
нечего баклуши бить,
надо в нашей,
надо в Красной,
надо в армии служить".

С огорченья —
парень скис.
Ноги врозь,
и морда вниз.

Парень думал:
„Как пойду, мол?"
Пил,
сопел
и снова думал,
подложив под щеку руку.
Наконец
удумал штуку.
С постной миной
резвой рысью
мчится
Дылдин
на комиссию.
Говорит,
учтиво стоя:

„Убежденьями —
Толстой я.
Мне война —
что нож козлу.
Я —
непротивленец злу.
По слабости
по свойской
я
кровь
не в силах вынести.
Прошу
меня
от воинской
освободить повинности".

Этаким
непротивленцам
я б
под спину дал коленцем.

Жива,
как и раньше,
тревожная весть:

— Нет фронтов,
но опасность есть!
Там,
за китайской линией,
грозится чжанцзолиния.
И пан Пилсудский в шпорах
просушивает порох.
А Лондон —
чемберленится,
кулак
вздымать
не ленится.
Лозунг наш
ряду годов:
— Рабочий,
крестьянин,
будь готов!
Будь горд,
будь рад
стать
красноармейцам в ряд.

(1927)

СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА

После боев
и голодных пыток
отрос на животике солидный жирок.
Жирок заливает щелочки быта
и застывает,
тих и широк.
Люблю Кузнецкий,
простите грешного,
потом Петровку,
потом Столешников,
по ним
в году
раз сто или двести
хожу из „Известий"
и в „Известия".
С восторга бросив подсолнухи лускать,
восторженно подняв бровки,
читает работница:
„Готовые блузки.
Последний крик Петровки".
Не зря и Кузнецкий похож на зарю,

прижав к замерзшей витрине ноздрю,
две дамы расплылись в стончике:
„Ах, какие фестончики!"
А рядом
учли обывательскую натуру.
Портрет
какого-то безусого,
отбирайте гения
для любого гарнитура,
все —
от Казина до Брюсова.
В магазинах
ноты для широких масс.
Пойте, рабочие и крестьяне,
последний
сердцещипательный романс:
„А сердце-то в партию тянет"[1].
В окне гражданин,
устав от ношения
портфелей,
сложивши папки,
жене
приятной во всех отношениях
выбирает
„глазки да лапки":
Перед плакатом „Медвежья свадьба"
нэпачка сияет в неге:
„И мне с таким медьедем
поспать бы, —
погрызи меня,
душка Эггерт".
Сияющий дом
в костюмах,
в белье.

Радуйся,
растратчик и мот.
„Ателье
мод".
На фоне голосов
стою
и философствую.
Свежим ветерочком в республику вея,
звездою сияя из мрака,
товарищ Гольцман
из Москвошвея
обещает
эпоху фрака [2].
Но
от смокингов и фраков оберегая охотников
(не попался на буржуазную удочку!),
восхваляет
комсомолец
товарищ Сотников
толстовку
и брючки „дудочку".
Фрак
или рубахи синие?
Неувязка парт- и советской линии.
Меня
удивляют их слова.
Бьет разнобой в глаза.
Вопрос этот
надо
согласовать
и, разумеется,
увязать.
Предлагаю,
чтоб эта идейная драка

не длилась бессмысленно далее:
пришивать
к толстовкам
фалды от фрака
и носить
лакированные сандалии.
А чтоб цилиндр заменила кепка,
накрахмаливать кепку крепко.
Грязня сердца
и масля бумагу,
подминая
Москву
под копыто,
волокут
опять
колымагу
дореволюционного быта.
Зуди
издевкой,
стих хмурый,
в разрез
с обывательским хором.
В делах
идеи,
быта,
культуры —
поменьше
довоенных норм.

(1927)

[1] Ноты Музторга. Музыка Тихоновой. Слова Чуж-Чуженина.

[2] Страница 12. № 2 „Экрана".

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО ХОЗ-РАСЧЕТ

Глянок
требует
любовные стихозы.
Стихи о революции —
на кой они чорт!
Их смотрит
какой-то
испанец „Хозе", —
Дон ХОЗ-РАСЧЕТ.
Мал почет,
и бюджет наш тесен.
Да еще
в довершенье —
промежду нас —
нет
ни одной
хорошенькой поэтессы,
чтоб привлекала
начальственный глаз.
Поэта
теснят
опереточные дивы,

теснит
киношный
размалеванный лист.
Мы, мол, массой,
мы коллективом.
А вы кто?
Кустарь-индивидуалист.
Город требует
зрелищ и мяса.
Что вы там творите
в муках родóв?
Вы
непонятны
широким массам
и их представителям
из первых рядов.
Люди заработали —
дайте, чтоб потратили.
Народ
на нас
напирает густ.
Бросьте ваши штучки,
товарищи
изобретатели
каких-то
новых
грядущих искусств! —
Щеголяет Толстой,
в истории ряженый,
лезет,
напирает
со своей императрицей.

„Тьфу на вас!
Вот я
так тиражный —
любое издание
тысяч тридцать".
Певице,
балерине
хлоп да хлоп.
Чуть ли
не над ЦИКом
ножкой машет.
„Дескать,
уберите
левое барахло,
разные
ваши
левые марши".
Большое де искусство
во все артерии
влазит,
любые классы покоря.
Довольно!
В совмещанском партере
Леф
не раскидает свои якоря.
Время —
судья единственный ты мне.
Пусть
„сегодня"
подымает
непризнающий вой.
Я
заявляю ему
от имени

твоего и моего:
— Я чту
искусство,
наполняющее кассы.
Но стих,
раструбливающий
октябрьский гул,
но стих,
бьющий оружием класса. —
мы не продадим
ни за какую деньгу.

ВМЕСТО ОДЫ

Мне б хотелось
вас
воспеть
во вдохновенной оде,
только ода
что-то не выходит.

Стольким идеалам
смерть на кухне
и под одеялом!

Моя знакомая —
женщина как женщина,
оглохшая
от примусов
пыхтения
и ухания,
баба советская,
в загсе венчанная,
самая передовая
на общей кухне.

Хранит она
в складах лучших дат
замужество
с парнем среднего ростца,
еще не партиец,
но уже кандидат,
самый красивый
из местных письмоносцев.
Баба сердитая,
видно сразу,
потому что сожитель ейный
огромный синяк
в дополнение к глазу
приставил,
придя из питейной.
И шипит она,
выгнав мужа вон:
— Я
ему
покажу советский закон!
Вымою только
последнюю из посуд —
и прямо в милицию,
прямо в суд... —
Домыла.
Перед взятием
последнего рубежа
звонок
по кухне
рассыпался, дребезжа.
Открыла,
расцвели миллионы почек,

высохла
по-весеннему
слезная лужа...
— Его почерк,
письмо от мужа.—
Письмо раскаленное —
не пишет,
а пышет.
„Вы моя душка,
и ангел
вы,
простите великодушно.
Я буду тише
воды
и ниже травы".
Рассиялся глаз,
оплывший набок.
Слово ласковое —
мастер
дивных див.
И опять
за примусами баба,
все поняв
и все простив.
А уже
циркуля письмоносца
за новой юбкой
по улицам носятся;
раскручивая язык
витиеватой лентой,
шепчет
какой-то
охаживаемой Вере:

— Я за положительность
и против инцидентов,
которые
вредят
служебной карьере.—
Неделя похоя,
но больше
никак
не прожить
без мата и синяка.
Неделя,
и снова счастья нету,
задрались,
едва в пивнушке по́были...
Вот оно —
семейное
„перпетуум
мобиле".
И вновь
разговоры
и суд, и „треть"
на много часов
и недель,
и нет решимости
пересмотреть
семейственную канитель.

Я
напыщенным словам
всегдашний враг
и, не растекаясь одами
к 8 марта,

я хочу,
чтоб кончилась
такая помесь драк,
пьянства,
лжи,
романтики
и мата.

(1921)

БУМАЖНЫЕ УЖАСЫ

(ОЩУЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО)

Если б
в пальцах
держал
земли бразды я,
я бы
землю остановил на минуту:
— Внемли!
Слышишь,
перья скрипят
механические и простые,
как будто
зубы скрипят у земли?
Человечья гордость,
смирись и улягся!
Человеки эти —
на кой они лях!
Человек
постепенно
становится кляксой
на огромных,
важных
бумажных полях.

По каморкам
ютятся
людские тени.
Человеку —
сажень.
А бумажке?
Лафа!
Живет бумажка
во дворцах учреждений,
разлеглася на столах,
кейфует в шкафах.
Вырастает хвост
на сукно
в магазине,
без галош нога,
без перчаток лапа.
А бумагам?
Корзина лежит на корзине,
и для тела „дел"—
миллионы папок.
У вас
на езду
червонцы есть ли?
Вы были в Мадриде?
Не были там!
А этим
бумажкам,
чтоб плыли
и ездили,
еще
возносят
новый почтамт!
Стали
ножки-клипсы
у бывших сильных,

заменили
инструкции
силу ума.
Люди
медленно
сходят
на должность посыльных,
в услужении
у хозяев — бумаг.
Бумажищи
в портфель
умещаются еле,
безозубую
обнажают кайму.
Скоро
люди
на жительство
влезут в портфели,
а бумаги —
наши квартиры займут.
Вижу
в будущем,—
не вымыслы мои:
рупоры бумаг
орут об этом громко нам,—
будет
за столом
бумага
пить чай,
человечек
под столом
валяться скомканным.
Бунтом встать бы,
разбить огневые флаги,

рвать зубами бумагу б,
ядрами б выть...
Пролетарий,
и дюйм
ненужной бумаги,
как врага своего,
вконец ненавидь.

(1927)

ДАЕШЬ ИЗЯЧНУЮ ЖИЗНЬ!

Даже
мерин сивый
желает
жизни изящной
и красивой.
Вертит
игриво
хвостом и гривой.
Вертит всегда,
но особо пылко,
если
навстречу
особа кобылка.
Еще грациозней,
еще капризней
стремится человечество
к изящной жизни.
У каждого класса
свое понятье,
особые обычаи,
особое платье.
Рабочей рукою
старое выжми —

посыплются фраки,
польются фижмы.
Царь
безмятежно
в могилке спит...
Сбит Милюков,
Керенский сбит...
Но в быту
походкой рачьей
пятятся многие
к жизни фрачьей.
Отверзаю
поэтические уста,
чтоб описать
такого хлюста.
Запонки и пуговицы
и спереди, и сзади.
Теряются
и отрываются
раз десять на день.
В моде
в каждой
так положено,
что нельзя без пуговиц,
а без головы можно.
Чтоб было
оправдание
для стольких запонок,
в крахмалы
туловище
сплошь заляпано.
На голове
прилизанные волоса́,

посредине
пробрита
лысая полоса.
Ноги
давит
узкий хром.
В день
обмозолишься
и станешь хром.
На всех мизинцах
аршинные ногти.
Обломаются —
работу не трогайте.
Для сморкания —
пальчики,
для виду —
платочек.
Торчит
из карманчика
кружевной уголочек.
Толку не добьешься,
что ни спроси,—
одни „пардоны“,
одни „мерси“.
Чтоб не было
ям
на хилых грудях,
ходит,
в петлицу
хризантемы вкрутя.
Изящные улыбки
настолько тóнки,
чтоб только виднелись
золотые коронки.

Косится на косицы —
стрельнуть за кем? —
и пошлость
про ландыш
на слюнявом языке.
А
в очереди
венерической клиники
читает
усердно
„Мощи“ Калинникова.
Таким образом
день оттрудясь,
разденет фигуру,
немытую отродясь.
Зевнет
и спит,
излюблен, испит.
От хлама
в комнате
тесней, чем в каюте.
И это называется:
— Живем-с в уюте! —

Лозунг:
— В ногах у старья не ползай! —
Готов
ежедневно
твердить раз сто:
изящество —
это стопроцентная польза,
удобство одежд
и жилья простор.

(1927)

КОРОНА И КЕПКА

Царя вспоминаю —
и меркнут слова.
Дух займет,
и если просто „главный".
А царь —
не просто всему глава,
а даже —
двуглавный.
Он сидел
в коронном ореоле,
царь людей и птиц...
— вот это чин! —
и как полагается
в орлиной роли,
клюв и коготь
на живье точил.
Точит
да косит глаза грозны.
Повелитель
жизни и казны.
И свистели
в каждом
онемевшем месте

плетницы
царевых манифестов.
„Мы! Мы! Мы!
Николай второй,
двуглавый повелитель
России-тюрьмы
и прочей тартарары,
царь польский,
князь финляндский,
принц эстляндский
и барон курляндский,
издевающийся
и днем, и ночью
над Россией
крестьянской и рабочей...
и прочее,
и прочее,
и прочее...“
Десять лет
прошли —
и нет.
Память
о прошлом
временем грабится...
Головкой русея,
вижу:
детям
показывает шкрабица
комнаты
ревмузея.
— Смотрите,
учащие
чистописание и черчение,

вот эта бумажка —
царское отречение.
Я, мол,
с моим народом —
квиты.
Получите мандат
без всякой волокиты.
Как приличествует
его величеству,
подписал,
поставил исходящий номер —
и помер.
И пошел
по небесной
скатерти-дорожке,
оставив
бабушкам
рожки да ножки.
— А этот...
не разберешься —
стул или стол,
с балдахинчиками со всех сторон?
— Это, дети,
называлось „престол
отечества"
или
— „трон".
— Плохая мебель! —
как говорил Бебель.
— А что это за вожжи,
и рваты, и просты? —
Сияют дети
с восторга и мления.

— А это, дети,
называлось —
бразды
правления. —
Корона —
вот этот ночной горшок.
Бриллиантов пуд —
устанешь носивши.
И морщатся дети:
— Нехорошо!
Кепка и мягше,
и много красивше.
Очень неудобная такая корона...
Тетя,
а это что за ворона?
— Двуглавый орел
под номером пятым.
Поломан клюв,
острижены когти.
Как видите,
обе шеи помяты...
Тише, дети,
руками не трогайте! —
И смотрят с удивлением
Маньки да Ванятки
на истрепанные
царские манатки.

(1927)

ФАБРИКАНТЫ ОПТИМИСТОВ

(ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ)

Не то грипп,
не то инфлуэнца.
Температура
ниже рыб.
Ноги тянет.
Руки ленятся.
Лежу.
Единственное видеть мог:
напротив — окошко
в складке холстика —
„Фотография Теремок,
Г. Мальков и М. Толстиков".
Весь день
над дверью
звоночный звяк,
а у окошка
толпа зевак.
Где ты, осанка?!
Нарядность, где ты?!
Кто в шинели,
а кто в салопе.

А на витрине
одни Гамлеты.
одни герои драм и опер.
Приходит дама,
пантера истая,—
такая она от угрей
пятнистая.
На снимке
нету ж—
слизала ретушь.
И кажется
этой плоской фанере,
что она Венера по крайней мере.
И рисуется ее глазам уж,
что она
за Зощенку
выходит замуж.
Гроза окрестностей,
малец-шалопай
сидит на карточке
паем пай:
такие, мол, не рассыпаны,
как поганки по́ лесу,—
растем
марксизму и отечеству на пользу.
Вот
по пояс
усатый кто-то.
Красив—
не пройдешь мимо!
На левых грудях
ордена Доброфлота,
на правых—
Доброхима.

На стуле,
будто на коне кирасир,
не то бухгалтер,
не то кассир.
В гарантию
от всех клевет и огорчений
коленки сложил,
и на коленки с
поставлены
полные собрания сочинений:
Бебель,
Маркс
и Энгельс.
Дескать, сидим —
трудящ и старателен, —
ничего не крали
и ничего не растратили.
Если ты загрустил,
не ходи далеко —
снимись по пояс
и карточку выставь.
Семейному уважение,
холостому альков.
Салют вам,
Толстиков и Мальков,
фабриканты оптимистов.

(1927)

ГЛУПАЯ ИСТОРИЯ

В любом учрежденьи,
куда ни препожалуйте,
слышен
ладоней скрип.
Это
при помощи
рукопожатий
люди
разносят грипп.
Но бацилла
ни одна
не имеет права
лезть
на тебя
без визы Наркомздрава.
И над канцелярией
в простеночной тёми
висит
объявление
следующей сути:
—Ввиду
эпидемии

руку
друг другу
зря не суйте. —
А под плакатом —
помглавбуха,
робкий, как рябчик,
и вежливей пуха.
Прочел
чиновник
слова плакатца,
решил —
не жать:
на плакат полагаться.
Не умирать же!
И как мышонок
заерзал,
шурша
в этажах бумажонок.
И вдруг
начканц
учреждения оного
пришел
какой-то бумаги касательно.
Сует,
сообразно чинам подчиненного,
кому безыменный,
кому
указательный.
Ушла
в исходящий
душа помбуха.
И вдруг
над помбухом
в самое ухо:

— Товарищ...
как вас?
Неважно!
Здрасьте!—
И ручка —
властней,
чем любимая в страсти.
Рассказывайте
вашей тете,
что вы
и тут
руки не пожмете.
Какой там принцип!
Мы служащие...
мы не принцы.
И палец
затем —
в ладони в обе,
забыв обо всем
и о микробе.
Знаком ли
товарищеский этот
жест вам?
Блаженство!
Назавтра помылся,
но было
поздно.
Помглавбуха —
уже гриппозный.
Сует
термометр
во все подмышки.
Тридцать восемь
и даже лишки.

Бедняге
и врач
не помог ничем,
бедняга
в кроватку лег.
Бедняга
сгорел,
как горит
на свече
порхающий мотылек.

Я
в жизни
суровую школу прошел.
Я —
разным условностям
враг.
И жил он,
по-моему,
нехорошо,
и умер,
как дурак.

(1927)

ПИВО и СОЦИАЛИЗМ

Блюет напившийся.
Склонился ивой.
Вулканятся кружки,
пену пепля.
Над кружками
надпись:
„Раки
и пиво
завода имени Бебеля".
Хорошая шутка!
Недурно сострена!
Одно обидно
до боли в печени,
что Бебеля нет,—
не видит старина,
какой он
у нас
знаменитый
и увековеченный.
В предвкушении
грядущих
пьяных аварий
вас
показывали б детям,
чтоб каждый вник:

— Вот
король некоронованный
жидких баварий,
знаменитый
марксист-пивник. —
Годок еще
будет
временем слизан,—
рассеются
о Бебеле
биографические враки.
Для вас, мол,
Бебель —
„Женщина и социализм",
а для нас —
пиво и раки.
Жены
работающих
на ближнем заводе
уже
о мужьях
твердят стоусто:
„Ироды!
с Бебелем дружбу водят.
Чтоб этому
Бебелю
было пусто!"
В грязь,
как в лучшую
из кроватных мéбелей,
человек
улегся
под домовьи леса,—

и уже
не говорят про него
—„на-зю-зю-кался“,
а говорят
„на-бе-бе-лился“.
Еще б
водчонку
имени Энгельса,
под
имени Лассаля
блины,—
и Маркс
не придумал бы
лучшей доли!
Что вы, товарищи,
бе-белены
объелись,
что ли?
Товарищ,
в мозгах
просьбишку вычекань,
да так,
чтоб не стерлась,
и век прождя:
брось привычку
(глупая привычка)
приплетать
ко всему
фамилию вождя.
Думаю,
что надпись
надолго сохраните:
на таких мозгах
она —
как на граните.

(1927)

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ

В любом учреждении
есть подхалим.
Живут подхалимы,
и неплохо им.
Подчас молодежи,
на них глядя,
хочется
устроиться —
как устроился дядя.
Но как
в доверье к начальству влезть?
Ответственного
не возьмешь на низкую лесть.
Например,
распахивать перед начальством
двери—
не к чему:
начальство тебе не поверит,
не оценит
энергии
излишнюю трату,—

подумает,
что это
ты —
по штату.

Или вот еще
способ
очень грубый:
трубить
начальству
в пионерские трубы.

Еще рассердится:
„Чего, мол, ради
ежесекундные
праздники
у нас
в отряде?“

Надо
льстить
умело и тонко.

Но откуда
тонкость
у подростка и ребенка?!

И мы,
желанием помочь палимы,
выпускаем
„Руководство
для молодого подхалимы“.

Например,
начальство
делает доклад —
выкладывает канцелярской премудрости
клад.

Стакан
ко рту
поднесет рукой
и опять докладывает час-другой.
И вдруг
вопль посредине доклада:
„Время
докладчику
ограничить надо!"
Тогда
ты,
сотрясая здание,
требуй:
„Слово
к порядку заседания!
Доклад —
звезда средь мрака и темени.
Требую
продолжать
без ограничения времени!"
И будь уверен —
за слова эти
начальство запомнит тебя
и заметит.
Узнав,
что у начальства
сочинения есть,
спеши
печатный отчетишко прочесть.
При встрече
с начальством,
закатывая глазки,

скажи ему
голосом,
полным ласки:
„Прочел отчет.
Не отчет, а роман!
У вас
стихи бы
вышли задарма!
Скажите,
не вы ли
автор „Анти-Дюринга"?
Тоже
написан
очень недурненько".
Уверен будь —
за оценки за эти
и начальство
оценит тебя
и заметит.
Увидишь:
начальство —
едет пьяненький
в казенной машине
и в дамской компанийке,
пиши
в стенгазету,
возмущенный насквозь:
„Экономия экономии рознь.
Такую экономию —
высмейте смешком!
На что это похоже?!
Еле-еле

со службы
и на службу,
таскаясь пешком,
начканц
волочит свои портфели*.
И ты
преуспеешь на жизненной сцене, —
начальство
заметит тебя
и оценит.

А если
не хотите
быть подхалимой,
сами
себе
не зажимайте рот:
увидев
безобразие,
не проходите мимо
и поступайте
не по стиху,
а наоборот.

(1927)

ТОВАРИЩ ИВАНОВ

Товарищ Иванов —
мужчина крепкий,
в штаты врос
покрепше репки.
Сидит
бессменно
у стула в оправе,
придерживаясь
на службе
следующих правил.
Подходит к телефону —
достоинство складкой.
— Кто спрашивает?
— Товарищ ТОТ!
И сразу
рот
в улыбке сладкой —
как будто
у него
не рот, а торт.
Когда
начальство
рассказывает анекдот,

такой,
от которого
покраснел бы и дуб,—
Иванов смеется,
смеется как никто,
хотя
от флюса
ноет зуб.
Спросишь мнение—
придет в смятеньице,
деликатно
отложит
до дня
до следующего,
а к следующему
узнаете
мненьице
уважаемого
товарища заведующего.
Начальство
одно
смахнут, как пыльцу..
Какое
ему,
Иванову,
дело?
Он служит
так же
другому лицу,
его печонке,
улыбке,
телу.

Напялит
на себя
начальственную маску,
начальственные привычки,
начальственный вид.
Начальство ласковое —
и он ласков.
Начальство грубое —
и он грубит.
Увидя безобразие,
не протестует впустую.
Протест
замирает
в зубах тугих.
„Пускай, мол,
первыми
другие протестуют.
Что я, в самом деле,
лучше других?"
Тот —
уволен.
Этот —
сокращен,
бессменно
одно
Ивановье рыльце,
везде
и всюду
пролезет он,
подмыленный
скользким
подхалимским мыльцем.

Впрочем,
написанное
ни для кого не ново,—
разве нет
у вас
такого Иванова?

Кричу
благим
(а не просто) матом,
глядя
на подобные истории:
—Где я?
В лонах
красных наркоматов
или
в дооктябрьской консистории?

(1927)

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ,

КАК О ТОМ СООБЩАЕТСЯ В № 219 „КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ", В СТИХЕ ПО ИМЕНИ „СВИДАНИЕ"

Слышал —
вас Молчанов бросил,
будто
он
предпринял это,
видя,
что у вас
под осень
нет
„изячного" жакета.
На косынку
цвета синьки
смотрит он
и цедит еле:
— Что вы
ходите в косынке?
да и...
мордой постарели.

Мне
пожалте
грудь тугую.
Ну,
а если
нету этаких...
Мы найдем себе другую
в разызысканной жакетке.—
Припомадясь
и прикрасясь,
эту
гадость
вливши в стих,
хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести.
„За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить".
Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
шел я низом,
строил
мост в социализм,
недостроил
и устал
и уселся
у моста́.

Травка
выросла
у мóста,
по мосту
идут овечки,
мы желаем
—очень просто!—
отдохнуть
у этой речки.
Заверните ваше знамя!
Перед нами
ясность вод,
в бок—
цветочки,
а над нами—
мирный-мирный небосвод.

Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венчáнного!
Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова.
—Прекратите ваши трели!
Я не знаю,
я стара ли,
но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали.

Знаю я —
в жакетах в этаких
на Петровке
бабья банда.
Эти
польские жакетки
к нам
провозят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
индустриальным займом
помогли
рожденью
ситцев.
Череп,
што ль,
пустеет чаном,
выбил
мысли
грохот лирный?
Это где же
вы,
Молчанов,
небосвод
узрели
мирный?
В гущу
ваших роздыхов,

под цветочки,
на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?
Или
за любовной блажью
не видать
угрозу вражью?

Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите,—
вы мешаете
мобилизациям и маневрам.

(1927)

МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ

„Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его „Боб“...“

(„Комс. Правда“)

„В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня...“

(„Комс. Правда“)

Из тучки месяц вылез
молоденький такой...
Маруся отравилась,
везут в приемпокой.
Понравился Маруське
один
с недавних пор:
нафабренные усики,
расчесанный пробор.

Он был
монтером Ваней,
но,
в духе парижан,
себе
присвоил знанье:
„электротехник Жан".
Он говорил ей часто
одну и ту же речь:
„Ужасное мещанство
невинность зря беречь".
Сошлись и погуляли,
и хмурит
Жан
лицо,
нашел он,
что
у Ляли—
красивше бельецо.
Марусе разнесчастной
сказал, как джентльмен.
„Ужасное мещанство—
семейный
этот
плен".
Он с ней
расстался
ровно
через пятнадцать дней
за то,
что лакированных
нет туфелек у ней.
На туфли
денег надо,

а денег
нет и так...
Себе
Маруся
яду
купила
на пятак.
Короткой
жизни
точка.
— Смер-тель-ный
я-яд
испит. —
В малиновом платочке
в гробу
Маруся
спит.
Развылся ветер гадкий.
На вечер,
ветру в лад,
в ячейке
об упадке
поставили
доклад.

ПОЧЕМУ?

В сердце,
без лесенки,
лезут
эти песенки.
Где родина
этих
бездарных романсов?

Там,
где белые
лаются моською?
Нет!
Эту песню
родила масса —
наша
комсомольская.
Легко
врага
продырявить наганом.
Или—
голову с плеч,
и саблю вытри.
А как
сейчас
нащупать врага нам?
Таится.
Хитрый!
Во что б ни обулись,
что б ни надели,
обноски
буржуев
у нас на теле.
И нет
тебе
пути-прямика.
Нашей
культуришке
без году неделя,
а ихней —
века.
И растут
черные

дурни
и дуры,
ничем не защищенные
от барахла культуры.
На улицу вышел —
глаза разопри!
В каждой витрине
буржуевы обноски:
какая-нибудь
шляпа
с пером „распри"
и туфли
показывают
лакированные носики.
Простенькую
блузу нам
и надеть конфузно.
На улицах,
под руководством
Гарри Пилей,
расставило
сети
Совкино.
От нашей
сегодняшней
трудной были
уносит
к жизни к иной.
Там
ни единого
ни Ваньки,
ни Пети,

одни
Жанны,
одни
Кэти.
Толча комплименты,
как воду в ступке,
люди
совершают
благородные поступки.
Всё
бароны,
графы — всё,
живут
по разным
роскошным городам.
Ограбят
и скажут:
„мерси, мусье“,
изнасилуют
и скажут:
„пардон, мадам!“
На ленте
каждая—
графиня минимум.
Перо в шляпу,
да серьги в уши.
Куда же
сравняться
с такими графинями
заводской
Феклуше да Марфуше?
И мальчики пачками
стреляют за нэпачками.
Нравятся
мальчикам

в маникюре пальчики.
Играют
этим пальчиком
нэпачки
на рояльчике.
А сунешься в клуб—
речь рвотная
Чешут
языками
чиновноустые.
Раз международное,
два международное,
но нельзя же до бесчувствия!
Напротив клуба
дверь пивнушки.
Веселье,
грохот,
как будто пушки!
Старается
разная
музыкальная челядь
пианинить
и виолончелить.
Входите, товарищи,
зайдите, подружечки,
выпейте,
пожалуйста,
по пенной кружечке!

ЧТО?

Крою
пиво пенное;
только что вам
с этого?
Что даю взамен я?

Что вам посоветовать?
Хорошо
и целоваться,
и вино.
Но...
Вино и поэзия,
и если
ее
хоть раз
по-настоящему
испили рты,
ее
не заменит
никакое питье,
никакие пива,
никакие спирты.
Помни
ежедневно,
что ты —
зодчий
и новых отношений
и новых любовей,—
и станет
ерундовым
любовный эпизодчик
какой-нибудь Любы
к любому Вове.
Можно и кепки,
можно и шляпы,
можно
и перчатки надеть на лапы.
Но нет
на свете
прекрасней одежи,

чем бронза мускулов
и свежесть кожи.
И если
подыметесь
чисты́ и стройны́,
любую
одежу
заказывайте Москвошвею,
и...
лучшие
девушки
нашей страны
сами
бросятся
вам на шею.

(1927)

ТРУС

В меру
и черны́, и ру́сы,
пряча взгляды,
пряча вкусы,
боком,
тенью,
в стороне —
пресмыкаются трусы
в славной
смелыми
стране.
Каждый зав
для труса —
туз.
Даже
от его родни
опускает глазки трус
и уходит
в воротник.
Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:

„Схорониться б
за приказ...
Спрятаться б
за циркуляр...“
Не поймешь,
мужчина,
рыба ли —
междометья
зря
не выпалит.
Где уж
подпись и печать!
„Только бы
меня не выбрали,
только б
мне не отвечать...“
Ухо в метр
— никак не менее —
за начальством
ходит сзади,
чтоб, услышав
ихнье
мнение,
завтра
это же сказать им.
Если ж
старший
сменит мнение,
он
усвоит
мненье старшино:
— Мненье —
это не именье,
потерять его
не страшно.—

Хоть грабьте,
хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
ни вой.
„Наше дело
маленькое —
я сам по себе
не Великий немой,
и рот
водою
наполнен мой,
вроде
умывальника я".
Трус
оброс
бумаг
коро:о.
„Где решать?!
Другие пусть.
Вдруг не выйдет?
вдруг покроют?
вдруг
возьму
и ошибусь?"
День-денской
сплетает тонко
узы
самых странных свадеб —
— увязать бы
льва с ягненком,
с кошкой
мышь согласовать бы.
Весь день
сердечко
ужас кроит,

предлогов для трепета —
кипа.
Боится автобусов
и Эркаи,
начальства,
жены
и гриппа.
Месткома,
домкома,
просящих взаймы,
кладбища,
милиции,
леса,
собак,
погоды,
сплетен,
зимы
и показательных процессов.
Подрожит
и ляжет житель,
дрожью
ночь
карежит тело...
Товарищ,
чего вы дрожите?
В чем, собственно,
дело?
В аквариум,
что ли, сажать вас?
Революция требует,
чтобы имелась
смелость,
смелость и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.

(1928)

СЛУЖАКА

Появились
молодые
превоспитанные люди —
Мопров
знаки золотые
им
увенчивают груди.
Парт-комар
из МККа
не подточит
парню
носа:
к сроку
вписана
строка
проф-
и парт-
и прочих взносов.
Честен он,
как честен вол.

В место
в собственное
вросся
и не видит
ничего
дальше
собственного носа.
Коммунизм
по книге сдав,
перевызубривши „измы“,
он
покончил навсегда
с мыслями
о коммунизме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
сиди
и жди.
— Нам, мол,
с вами
думать неча,
если
думают вожди. —
Мелких дельцев
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежно,
узколобо.

День — этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам,—
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,
гордо
выпячены
груди,
ходят
тихо
молодые
приспособленные люди.
О коряги
якорятся
там,
где тихая вода...
А на стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.

Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
с ихней честностью?
Комсомолец,
живя
в твои лета,
октябрьским
озоном
дыша,
помни,
что каждый день —
этап,
к цели
намеченной
шаг.
Не наши,
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь;
быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.
У нас
еще
не Эдем и рай, —
мещанская
тина с цвелью.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромной
поставленной целью.

(1928)

СТИХ
НЕ ПРО ДРЯНЬ,
А ПРО ДРЯНЦО

ДРЯНЦО
ХЛЕЩИТЕ
РИФМ КОНЦОМ.

Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.
Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.

Лезет
бытище
в щели во все.
Подновили житьишко,
предназначенное на слом,

человек
сегодня
приспособился и осел,
странной разновидностью —
сидящим ослом.
Теперь —
затишье.
Теперь не наро́дится
дрянь
с настоящим
характерным лицом.
Теперь
пошло
с измельчанием народца
пошлое,
маленькое,
мелкое дрянцо.
Пережил революцию,
до нэпа до́жил
и дальше
приспособится,
хитер на уловки...
Очевидно —
недаром тоже
и у булавок
бывают головки.
Где-то
пули
рвут
знаменный шелк,
и нищий
Китай
встает, негодуя,

а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и не дует.
Тихо, тихо
стираются грани,
отделяющие
обывателя от дряни.
Давно
канареек
выкинул вон,
нечего
на птицу тратиться.
С индустриализации
завел граммофон
да канареечные
абажуры и платьица.
Устроил
уютную
постельную нишку.
Его
некультурной
ругать ли гадиною?!
Берет
и с удовольствием
перелистывает книжку,
интереснейшую книжку —
сберегательную.
Будучи
очень
в семействе добрым,

так
рассуждает
лапчатый гусь:
„Боже
меня упаси от допра,
а от Мопра —
и сам упасусь".

Об этот
быт
распухший и сальный
долго
поэтам
язык оббивать ли?!
Изобретатель,
даешь
порошок универсальный,
сразу
убивающий
клопов и обывателей.

(1928)

ПОМПАДУР

Член ЦИКа тов. Рухула Алы Оглы Ахундов ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда Москва — Харьков за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания тов. Ахундов выложил свой цикский билет.

(„Правда", № 111|3934)

Мне неведомо,
в кого я попаду,
знаю только —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
выезжает
отдыхать
на воды.

Как шар,
положенный
в намеченную лузу,

он
лысой головой
для поворотов
туг
и носит
синюю
положенную блузу,
как министерский
раззолоченный сюртук.
Победу
масс,
позволивших
ему
надеть
незыблемых
мандатов латы,
немедля
приписал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.
Со всякой массою
такой
порвал давно.
Хоть политический,
но капиталец —
нажит.
И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
„володеть и княжить".

Внизу
какие-то
проходят, семеня,—
его
не развлечешь
противною картиной.
Как будто говорит:
„Не трогайте
меня
касанием плотвы
густой,
но беспартийной".
С его мандатами
какой,
скажите,
риск?
С его знакомствами
ему
считаться не с кем.
Соседу по столу,
напившись в дым и дрызг,
орет он:
„Гражданин,
задернуть занавеску!"
Взбодрен заручками
из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего
награждает оплеухой,
и собеседник
сверзился под стол,
придерживая
окровавленное ухо.

Расселся,
хоть на лбу
теши дубовый кол, —
чего, мол,
буду объясняться зря я?!
Величественно
положил
мандат на протокол:
„Прочесть
и расходиться, козыряя!“
Но что случилось?
Не берут под козырек?
Сановник
под значком
топырит
грудью
платье.
Не пыжьтесь, помпадур!
Другой зарок
дала
великая
негнущаяся партия.
Метлою лозунгов
звенит железо фраз,
метлою бурь
по дуракам подуло.
— Товарищи,
подымем ярость масс
за партию,
за коммунизм,
на помпадуров! —

Неизвестно мне,
в кого я попаду,
но уверен —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
ехал
отдыхать на воды.

(1928)

ХАЛТУРЩИКИ

„Пролетарий
туп жестоко,
дуб
дремучий
в блузной сини,
он в искусстве
смыслит столько ж,
сколько
свиньи в апельсине.
Мужики —
большие дети,
крестьянин
туп, как сука,
с ним
до совершеннолетия
можно
только что
сюсюкать".
В этом духе
порешив,
шевелюры
взбивши кущи,
нагоняет барыши

всесоюзный
маг-халтурщик.
Рыбьим фальцетом
бездарно оря,
он
из опер покрикивает,
он
переделывает
„Жизнь за царя"
в „Жизнь
за товарища Рыкова".
Он
берет
былую оду,
славящую
царский шелк,
„оду"
перешьет в „свободу"
и продаст,
как рев-стишок.
Жанр
намажет
кистью тучной,
но узря,
что спроса нету,
жанр изрежет
и поштучно
разбазарит
по портрету.
Вылепит
Лассаля
ихняя порода,

если же
никто
не купит ужас глиняный,
прискульптурив
бороду на подбородок,
из Лассаля
сделает Калинина.
Близок
юбилейный риф,
на заказы
вновь добры.
Помешают волоса ли?
Год в Калининых побыв,
будто
бороду побрив,
снова
бюст
пошел в Лассали.
Вновь
Лассаль
стоит в продаже,
омоложенный проворно,
вызывая
зависть
даже
у профессора Воронова.

По наркомам
с кистью лазя,
день-денской
заказов ждя,
укрепил
проныра
связи
в канцеляриях вождя.

Сила знакомства!
Сила родни!
Сила
привычек и давности!
Только попробуй
да сковырни
этот
нарост бездарностей!
По всем известной вероятности
не оберешься
неприятностей.

Рабочий,
крестьянин,
шваброу возьми,
метущую чисто
и густо,
и месяц
метя часов по восьми,
смети
халтуру
с искусства.

(1928)

ПЛЮШКИН

ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ СКОПИДОМ ОБСТРАИВАЕТ СТОЛ И ДОМ

Обыватель —
многосортен.
На любые
вкусы
есть.
Даже
можно выдать орден —
всех
сумевшим
перечесть.
Многолики эти люди.
Вот один:
годах и в стах
этот дядя
не забудет,
как
тогда
стоял в хвостах.

Если
Союзу
день затруднел,—
близкий
видится
бой ему.
О боевом
наступающем дне
этот мыслит по-своему:
„Что-то
рыпаются в Польше...
Надобно,
покамест есть,
все достать,
всего побольше
накупить
и приобресть.
На товары
голод тяжкий
мне
готовят
битв года.
Посудите,
где ж подтяжки
мне
себе
купить тогда?
Чай вприкуску?
Я не сваха.
С блюдца пить —
привычка свах.
Что ж
тогда мне
чай и сахар

нарисует,
что ли,
АХРР?
Оглядев
товаров россыпь,
в жадности
и в алчи
укупил
двенадцать гроссов
дирижерских палочек.
Нынче
все
сбесились с жиру.
Глядь, —
война чрез пару лет.
Вдруг прикажут —
дирижируй!
Хвать,
а палочек и нет!
И ищи
и там, и здесь.
Ничего хорошего!
Я
куплю,
покамест есть,
много
и дешево*.
Что же вам
в концертном гвалте?
Вы ж
не Никиш,
а бухгалтер.

„Ничего,
на всякий случай,
все же
с палочками лучше".

Взлетала
о двух революциях весть.
Бурлили бури.
Плюхали пушки.
А ты,
как был,
такой и есть
ручною
вшой
копошащийся Плюшкин.

(1928)

ИДИЛЛИЯ

Революция окончилась.
Житье чинй.
Ручейковою
журчи водицей.
И пошел
советский мещанин
успокаиваться
и обзаводиться.

Белые
обои
кàри —
в крапе мух
и в пленке пыли,
а на копоти
и гари
Гаррей
Пилей
прикрепили.

Спелой
дыней
лампа свисла,
светом
ласковым
упав.
Пахнет липким,
пахнет кислым
от пеленок
и супов.
Тесно править
варку,
стирку,
третее
дитё родив.
Вот
ужо
сулил квартирку
в центре
кооператив.
С папой
„Ниву"
смотрят детки,
в „Красной ниве" —
нету терний.
„Это, дети, —
Клара Цеткин,
тетя эта
в Коминтерне".
Впились глазки,
снимки выев,
смотрят —
с час
журналом вея.

Спрашивает
папу
Фия:
„Клара Цеткин —
это фея?"
Братец Павлик
фыркнул:
„Фи, как
немарксична эта Фийка!
Политрук
сказал же ей —
аннулировали фей".
Самовар
кипит со свистом,
граммофон
визжит романс,
два
знакомых коммуниста
подошли
на преферанс.
„Пизырь коки...
черви...
масти..."
Ритуал
свершен сполна...
Смотрят
с полочки
на счастье
три
фарфоровых слона.
Обеспечен
сном
и кормом,

вьет
очаг
семейный дым...
И доволен
сам
домкомом,
и домком
доволен им.

Революция не кончилась.
Домашнее мычанье
покрывает
приближающейся битвы гул...
В трубы
в самоварные
господа мещане
встречу
выдувают
прущему врагу.

(1928)

СТОЛП

Товарищ Попов
чуть-чуть не от плуга.
Чуть
не от станка
и сохи.
Он —
даже партиец,
но он
перепуган,
брюзжит
баритоном сухим:
„Раскроешь газетину —
в критике вся,
любая
колеблется
глыба.
Кроют.
Кого?
Аж волосья́
встают
от фамилий
дыбом.

Ведь это —
подрыв,
подкоп ведь это...
Критику
осторожненько
должно вести.
А эти
критикуют,
не щадя авторитета,
ни чина,
ни стажа,
ни должности.
Критика
снизу —
это яд.
Сверху —
вот это лекарство!
Ну, можно ль
позволить
низам,
подряд
всем
заниматься критиканством?!
О мерзостях
наших
трубим и поем.
Иди
и в газетах срамись я!
Ну, я ошибся...
Так в тресте ж
в моем
имеется
ревизионная комиссия!

Ведь можно ж,
не задевая столпов,
в кругу
своих
братишек
вызвать,
сказать:
— Товарищ Попов,
орудуй...
тово...
потише... —
Пристали
до тошноты,
до рвот,
обмазывают
кистью густою.
Товарищи,
ведь это же ж
подорвет
государственные устои!
Кого критикуют? —
вопит, возомня,
аж голос
визжит
тенорком. —
Вчера —
Иванова,
сегодня —
меня,
а завтра —
Совнарком!"
Товарищ Попов,
оставьте скулеж.

Болтовни о подрывах —
ложь!
Мы всех зовем,
чтоб в лоб,
а не пятясь,
критика
дрянь
косила, —
и это
лучшее из доказательств
нашей
чистоты и силы.

(1928)

ЗЕВС-ОПРОВЕРЖЕЦ

Не первый стих
и все про то же.
И стих,
и случаи похожи.

Как вверх
из Везувия
в смерденьи и жжении
лава
извергается в грозе,
так же точно
огнедышащие опровержения
лавятся
на поля газет.
Опровергатель
всегда
подыщет повод.
Ведром
возражения лей.
Впечатано:
„Суд
осудил Попова

за кражу
трехсот рублей".
И краска
еще не просохла,
а он
пещрит
статейные мили:
„Опровергаю
и возмущен
злостным
искажением фамилии.
Избавьте
от рецензентов-клопов.
Такие нападки
плоски.
Фамилия
моя
совсем не Попов,
а раз и навсегда —
Поповский.
Перестарались
газетные врали.
Где
п-р-а-в-д-а
в их волчьем вое?..
В семействе
у нас
никогда не крали,
и я —
не крал,
а присвоил.
Хроникеры
анекдотами
забавляются блея,

а факты
в воздухе висят.
Никогда
не крал
трехсот рублей я,
а присвоил
триста пятьдесят.
Массам
требуется
серьезное чтение,
а не плоские
полосы и полоски...
Примите
уверение
в совершенном почтении.
С гражданским приветом
Поповский".

Граждане,
бросьте
опровержения волочь!
В газеты
впились, как клещи.
Не опровергнешь
ни день,
ни ночь,
ни прочие
очевидные вещи.

(1928)

ПОП

Сколько
от сатириков
доставалось попам, —
жестка
сатира-палка!
Я не пойду по крокодильим стопам,
мне попа жалко.
Идет он,
в грязную гриву
спрятав
худое плечо и ухо.
И уже
у вожатых
спрашивают октябрята:
„Кто эта
рассмешная старуха?“
Профессореет
вузовцев рать.
От бога мало прока.
И скучно
попу ежедневно врать,

что гром
от Ильи-пророка.
Люди летают
по небесам,
и нет
ни ангелов,
ни бе́сов,
а поп
про ад завирает,
а сам
не верит
в него
ни бельме́са.
Люди
на отдых
ездят по мѐсяцам
в райский
крымский край,
а тут
неси и неси околесицу
про какой-то
небесный рай.
И богомольцы
скупы, как пни, —
и в месяц
не выбубнишь трешку.
В алтарь
приходится
итти бубнить,
а хочется
бежать
в кинематошку.

Мне священников
очень жаль,
жалею
и ночь,
и день я —
вымирающие сторожа
аннулированного учреждения.

(1928)

ПОДЛИЗА

Этот сорт народа —
тих
и бесформен,
словно студень;
очень многие
из них
в наши
дни
выходят в люди.
Худ умом
и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
зря
краснеет
на плечах
не башка —
а набалдашник.
Этот
фрукт
теперь согрет

солнцем
нежного начальства.
Где причина?
В чем секрет? —
я
задумываюсь часто.
Жизнь
его
идет на лад;
на него
не брошу тень я.
Клад его —
его талант,
нежный
способ
обхожденья.
Лижет ногу,
лижет руку,
лижет в пояс,
лижет ниже,
как кутенок
лижет
суку,
как котенок
кошку лижет.
А язык
на метров тридцать
догонять
начальство
вылез,
мыльный весь,
аж может бриться,
даже
кисточкой не мылясь.

Все похвалит, впавши
в раж,
что
фантазия позволит,—
ваш катарр,
и чин,
и стаж,
вашу доблесть
и мозоли.
И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равненье.
Где-то
будто
вручены
чуть ли не—
бразды правленья.
Раз
уже
в руках вожжа,
всех
сведи
к подлизным взглядам,
расслюнявит—
уважать,
уважать
начальство
надо!
Мы
глядим,
уныло ахая,

как растет
от ихней братии
архи-разнерархия
в издевательстве
над демократией.
Вея шваброй
верхом,
низом,
сместь бы
всех,
кто поддались,
всех,
радеющих подлизам,
всех
радетельских
подлиз.

(1928)

СПЛЕТНИК

Петр Иванович Сорокин
в страсти —
холоден, как лед.
Все
ему
чужды пороки,
и не курит,
и не пьет.
Лишь одна
любовь
рекой
залила
и в бездну клонит —
любит
этакой серьгой
повисеть на телефоне.
Фарширован
сплетен
кормом,
он
вприпрыжку,
как коза,

к первым
вспомненным
знакомым
мчится
новость рассказать.
Задыхаясь
и сипя,
добредя
до вашей
дали,
он
прибавит от себя
пуд
пикантнейших деталей.
„Ну...—
начнет,
пожавши руки,—
обхохочете живот:
Александр
Петрович
Брюкин —
с секретаршею живет.
А Иван Иваныч Тестов,
первый
в тресте
инженер,
из годичного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
простите,
скоро
прибавленье...
Быть возне.

Кстати вот что —
целый город
говорит,
что Розенель...“
Прослюнявив новость
вкупе
с новостишкой
с дряхлой
с этой,
быстро
всем
доложит,
в супе
что
варилось у соседа.
Кто
и что
отправил в рот,
нет ли,
есть ли
хахаль новый,
и из чьих
таких
щедрот —
новый
сак
у Ивановой.
Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное,

он скажет:
„Желаю,
чтоб был
мир
огромной
замочной скважиной.
Чтоб в скважину
в эту
влезши на треть
слюну
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть
в чужие
дела и постели".

(1928)

СЕРДЕЧНАЯ ПРОСЬБА

„Ку-ль-т-у-р-р-рная р-р-р-еволюция".
И пустились:
каждый вечер
блещут мысли,
фразы льются,
пухнут диспуты
и речи.
Потрясая истин кладом
(и не глядя
на бумажку),
выступал
вчера
с докладом
сам
товарищ Лукомашко.
Начал
с комплиментов ярых:
распластав
язык
пластом,

пел
о наших юбилярах,
о Шекспире,
о Толстом.
Он трубил
в тонах победных,
напряган
тихий
рот,
что курить
ужасно вредно,
а читать —
наоборот.
Все, что надо,
увязал он,
превосходен
говор гладкий...
Но...
мелькали
вон из зала
несознательные пятки.
Чтоб рассеять
эту мрачность,
лектор
с грацией слоновьей
перешел
легко и смачно —
на Малашкина
с луною.
Заливался голосист.
Мысли
шли,
как книги в ранец.

Кто же я теперь —
марксист
или
вегетарианец?!
Час,
как частникова такса,
час
разросся, как года...
На стене
росла
у Маркса
под Толстого —
борода.
Если ты —
не дуб,
не ясень,
то тебе
и вывод ясен:
— Рыбу
ножиком
не есть,
чай
в гостях
не пейте с блюдца...
Это вот оно и есть
культ-у-р-р-ная р-р-революция. —
И пока
гремело эхо
и ладоши
били в лад,
Лукомашко
рысью ехал
на шестнадцатый доклад.

С диспута,
издыхая бурно,
я вернулся
к поздней ночи...
Революция культурная,
а докладчики...
не очень.

Трибуна
у нас
не клирос.
Уважаемые
товарищи няни,
комсомолец
изрядно вырос
и просит
взрослых знаний.

(1928)

СОБЕРИТЕСЬ И ПОГОВОРИТЕ-КА

ВРОВЕНЬ
С КРИТИКОЙ
ПИСАТЕЛЯ И ХУДОЖНИКА,
ПОЧЕМУ
ТАК МНОГО
САПОЖНИКОВ-КРИТИКОВ
И НЕТ
СОВЕРШЕННО
КРИТИКИ НА САПОЖНИКОВ?

Фельетонов ягодки —
рецензий цветочки...
Некуда деваться дальше!
Мы знаем
о писателях
все до точки,
о великих
и о
захудалейших.
Внимает
критик
тише тли:
Не смолк ли Жаров?
пишет ли?..

Разносят
открытки
Никулина вид,
мы знаем,
что́ Никулин:
как поживает,
что творит,
не хвор,
не пьет коньяку ли.
Богемские
новости
жадно глотал,
орут:
„Расхвали,
раскатай его!"
Каким
содержанием
фарширован Катаев?
Какие
формы у Катаева?
С писателем
няньчась,
как с писаной торбой,
расхвалит
Ермилов
милого,
а Горбов
в ответ,
как верблюд двугорбый,
наплюнет
статьей
на Ермилова.

Читатель
зрачком
по статье поелозит
и хлопнет
себя
по ляжке —
„Зачем
в такой лошадиной дозе
подносится
разный Малашкин?!“
Рабочему
хочется
держаться в курсе
и этой книги,
и той.
Но мы не хотим,
не в рабочем вкусе,
забыв,
что бывают
жареные гуси,
питаться
одной
духовной едой.
Мы можем
распутать
в миг единый
сложные
поэтические
путы,
но чорт его знает,
что едим мы
и в какую
гадость
обуты?!

Давайте
затеем
новый спор мы.
Сойдитесь,
критик и апологет!
Вскройте,
соответствуют ли
сапожные формы
содержанию —
моей ноге?
Учти,
за башмаками
по магазинам лазя,
стоят дорого
или дёшевы,
крепок ли
у башмака
идеологический базис,
то есть —
хороши ли подошвы?
Явитесь,
критики
новой масти,
пишите,
с чего желудок пучит?
Может,
новатор —
колбасный мастер,
а может,
просто
бандит-попутчик.
Учтя
многолюдность
колбасных жертв,

обсудим
во весь
критический азарт,
современен ли
в сосисках
фарш-сюжет
или
протух
неделю назад.
Товарищ!
К вещам
пером прицепься,
критикуй поэмы,
рецензируй басни.
Но слушай окрик:
„Даешь
рецензии
на произведения
сапожной и колбасной!"

(1928)

ПРО ПЕШЕХОДОВ И РАЗИНЬ, ВОНЗИВШИХ ГЛАЗКИ НЕБУ В СИНЬ

Улица —
меж домами
как будто ров.
Тротуары
пешеходов
расплескивают на асфальт.
Пешеходы ругают
шоферов, кондукторов.
Толкнут,
наступят,
отдавят,
свалят.
По Петровке
ходят яро
пары,
сжаты по-сардиньи.
Легкомысленная пара,
спрыгнув с разных тротуаров,
снюхалась посередине.
Он подымает кончик кепки,

она
опускает бровки...
От их
рукопожатий крепких —
плотина
поперек Петровки.
Сирене
хвост
нажал шофер,
визжит
сирен
железный хор.
Во-всю
автобусы ревут.
Напрасен вой.
Напрасен гуд.
Хоть разверзайся преисподняя,
а простоят
до воскресения,
вспоминая
прошлогоднее
крымское землетрясение.

Охотный ряд.
Вторая сценка:
снимают
дряхленькую церковь.
Плетенка из каких-то вех,
задрав седобородье вверх,
стоят
недвижно, как свеча,
два довоенных москвича.

Разлив автомобильных лав,
таких спугнуть
никак не суйся.
Стоят,
глядят, носы задрав,
и шепчут:
„Господи Иисусе...“

Картина третья.
Бытовая
развертывается у трамвая.
Обгоняя
ждущих —
рысью,
рвясь,
как грешник рвется в рай,
некто
воет кондуктриссе:
„Чорт...
Пусти! —
Пустой трамвай...“
Протолкавшись между тетей,
обернулся,
крыть готов...
„Граждане! —
Куда ж вы прете?
Говорят вам, —
нет местов!“

Поэтому
у меня,
у старой газетной крысы,

и язык не поворачивается
обвинять
ни шофера,
ни кондуктриссу.

Уважаемые
дяди и тети!
Скажите,
сделайте одолжение:
чего вы
нос
под автобус суете?!
Чего вы
прете
против движения?!

(1928)

ПОМОЩЬ НАРКОМПРОСУ, ГЛАВИСКУССТВУ В КУБЕ, ПО ЖГУЧЕМУ ВОПРОСУ, ВОПРОСУ О КЛУБЕ

Федерация советских писателей получила дом и организует в Москве первый писательский клуб.

(Из газет)

Не знаю —
петь,
плясать ли,
улыбка
не сходит с губ.
Наконец-то
и у писателя
будет
свой
клуб.
Хорошая весть.
Организовать
так,
чтобы цвесть

и не завять.
Выбрать
мебель
красивую самую,
обитую
в недорогой бархат,
чтоб сесть
и удобно
слушать часами
доклад
товарища Авербаха.
Потом,
понятен,
прост
и нехитр,
к небу
глаза воздевши,
пусть
Молчанов
читает стихи
под аплодисменты девушек.
Чтоб каждому
чувствовалось
хорошо и вольно́,
пусть,
если выйдет оказийка,
встанет
и прочитает
Всеволод Ивано́в
пару, другую рассказиков.
Чтоб нам не сидеть
по своим скворешням

так,
как писатель
сидел века,
хочется
встретиться
с Толстым,
с Орешиным,
поговорить
за бутылкой пивка.
Простая еда.
Простой напиток.
Без скатертей
и прочей финтифлюшины.
Отдать
столовую
в руки Нарпита,
нечего
разводить ужины.
Чтоб не было
этих
разных фокстротов,
чтоб джазы
творчеству
не мешали бубня,
а с вами
беседовал бы
товарищ Родов,
не надоедающий
в течение дня.
Чтоб не было
этих
разных биллиардов,
чтоб мы
на пустяках не старели,

а слушали
бесхитростных
красных бардов
и прочих
самородков-менестрелей.
Писателю
классику
мил и люб
не грохот,
а покой...
Вот вы
организуйте
такой клуб,
а я
туда —
ни ногой.

(1928)

СЛЕГКА НАХАЛЬНЫЕ СТИХИ ТОВАРИЩАМ ИЗ ЭМКАХИ

Прямо
некуда деваться
от культуры.
Будь ей пусто!
Вот
товарищ Цивцивадзе
насадить мечтает бюсты.
Чтоб на площадях
и скверах
были
мраморные лики,
чтоб, вздымая
морду вверх,
мы бы
видели великих,
чтобы день
пробегав зря,
хулиганов
видя
рожи,

ты,
великий лик узря,
был
душой облагорожен.
Слышу,
давши грезам дань я,
нотки
шопота такого:
„Приходите
на свиданье
возле бюста
Эф Гладкова".
Тут
и мой овал лица,
снизу
люди тщатся...
К чорту!
„Останавлица
Строго воспрыщаица".
А там,
где мороженое
морит желудки,
сверху
восторженный
смотрит Жуткин.
Скульптор
помнит наш режим
(не лепить чтоб
два
лица),
Жаров — Уткин
слеплен им
сразу
в виде близнеца.

Но—
лишь глаз прохожих пара
замерла,
любуясь мрамором,
миг—
и в яме тротуара
раскорячился караморой.
Только
лошадь
пару глаз
вперит
в грядах розовых,
сверзлася
с колдобин
в грязь
возле чучел бронзовых.
И с разискреннею силищей
кроют,
мрачные от желчи:
„Понастроили страшилищей,
сволочи,
Микель Анжелычи".
Мостовой
разбитой едучи,
думаю о Цивцивадзе.
Нам нужны,
товарищ Медичи,
мостовые,
а не вазы.
Рвань,
куда ни поглазей
грязью
глаз любуется.

Чем
устраивать музей,
вымостили б улицы.
Штопали б
домам
бока
да обчистили бы грязь вы.
Мы бы
обошлись пока
Гоголем
да Тимирязевым.

(1925)

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ

Мир
    теплеет
            с каждым туром,
хоть белье
            сушиться вешай,
и разводит
            колоратуру
соловей осоловевший.
В советских
            листиках
                майский бред,
влюбленный
            весенний транс.
Завхоз,
        начканц,
            комендант
                и зампред
играют
        в преферанс.
За каждым играющим —
                красный стаж

длинит
ежедневно
времен река,
и каждый
стоял,
как верный страж,
на бывшем
обломке
бывших баррикад.
Бивал
комендант
фабрикантов-тузов,
поддав
прикладом
под зад,
а нынче
улыбка
под чернью усов —
купил
козырного туза.
Начканц
пудами бумаги окидан
и все
разворотит, как лев,
а тут
у него
пошла волокита,
отыгрывает
семерку треф.
Завхоз —
у него
продовольствия выбор
по свежести
всех первей,

а он
сегодня
рад, как рыба,
полной
руке
червей.
И вдруг
объявляет
сам зампред
на весь большевизм
запрет:
„Кто смел
паршивою дамой
бить —
кого?
— моего короля!“
Аж герб
во всю
державную прыть
вздымался,
крылами орля.
Кого
не сломил
ни Юденич, ни Врангель,
ни пушки
на холмах,
того
доконала
у ночи в овраге
мещанская чухлома.
Немыслимый
дух
ядовит и кисл,

вулканом
окурков гора,
а был же
— честное слово!! —
смысл
в ликующем слове —
„игра".

Как строить
с вами
культурный Октябрь,
деятельной
лени
пленные?
Эх,
перевесть эту страсть
хотя б —
на паровое отопление!

(1928)

ДВЕ КУЛЬТУРЫ

Пошел я в гости
(в те года),
не вспомню имя-отчества,
но собиралось
у мадам
культурнейшее общество.
Еда
и поэтам
вещь нужная.
И я
поэтому
сижу
и ужинаю.
Гляжу,
культурой поражен,
умильно губки сжав:
никто
не режет
рыб ножом,
никто
не ест с ножа.

Поевши,
душу веселя,
они
одной ногой
разделывали
вензеля,
увлечены тангой.
Потом
внимали с мужеством,
упившись
разных зелий,
романсы
(для замужества)
двух мадмуазелей.
А после
пучили живот
утробным
низким ржаньем,
слушая,
кто с кем живет
и у кого
на содержании.
Графине
граф
дает манто,
сияет
снег манжет. .
Чего еще?
Сплошной бонтон.
Сплошное бламанже.
Гостям вослед,
ушли когда

два
запасных лакея,
вызывается
к мадам
кухарка Пелагея.
„Пелагея,
что такое?
где еще кусок
жаркое?"
Мадам,
как горилла,
орет,
от гнева розовая:
„Снова
суп переварила,
некультурное рыло,
дура стоеросовая!"
Так,
отдавая дань годам,
поматерив на кухне,
живет
культурная мадам
и с жиру
мордой пухнет.
В Париже
теперь
мадам и родня,
а новый
советский быт
ведет
работницу
к новым дням

от примусов
и от плит.
Культура
у нас —
не роман да балы,
не те
танцовальные пары.
Мы будем
варить
и мыть полы,
но только
совсем не для барынь.
Работа
не знает
ни баб, ни мужчин,
ни белый труд
и ни черный.
Ткачихе с ткачом
одинаковый чин
на фабрике
раскрепощенной.
Вглубь, революция!
Нашей стране
другую
дорогу
давая,
расти
голова
другая
на ней,
осмысленная
и трудовая.

Культура
новая,
здравствуй!
Смотри,
и Москва, и Харьков, —
в советах
правят государством
крестьянка
и кухарка.

(1928)

ЧЬЕ РОЖДЕСТВО?

Праздники
на носу.
Люди
жаждут праздновать.
Эти дни
понанесут
безобразия разного.
Нынче лозунг:
„Водкой вылей
все свои получки".
Из кулечков
от бутылей
засияют лучики.
Поплывет
из церкви
гул —
развеселый оченно.
Будет
сотня с лишним скул
в драке разворочена.

Будут
месть
ступени лестниц
бородьем лохматым.
Поплывут
обрывки песен
вперемежку...
с матом.
Целоваться
спьяну
лезть
к дочкам
и к женам!
Перекинется
болезнь
к свеже-зараженным.
Будут
пятна
винных брызг
стлаться
по обоям.
Будут
семьи
драться вдрызг
пьяным
мордобоем.
По деньгам
и даром —
только б угостили —
будут пить
по старым
и по новым стилям.

Упадет
и пьян,
и лих...
„Жалко,
что ли,
рожи нам?!“
Сколько их
на мостовых
будет заморожено!
В самогон
вгоняя рожь,
села
хлещут зелие.
Не опишешь!
Словом,
сплошь
радость и веселие.

Смотрю я
на радостное торжество,
глаз
оторвать
не смея...
Но почему оно
зовется
„христово рождество“,
а не
„рождество
зеленого змея“?!

(1928)

КТО ОН?

Кто мчится,
кто скачет
такой молодой
противник мыла
и в контрах с водой?
Как будто
окорока ветчины,
небритые щеки
от грязи черны.
Разит
и грязнее черных ворот
зубною щеткой
нетронутый рот.
Сродни
шевелюра
помойной яме,
бумажки
и стружки
промеж волосьями.
А в складках блузы
безвременный гроб

нашел
энергично раздавленный клоп.
Трехлетнего пота
журчащий родник
проклеил
и выгрязнил
весь воротник.
Кто мчится,
кто скачет
и брюки ловит,
держащиеся
на честном слове?
Сбежав
от повинностей
скушных и тяжких,
за скакуном
хвостятся подтяжки.
Кто мчится,
кто скачет
резво и яро
по мостовой
в обход тротуара?
Кто мчит
без разбора
сквозь слякоть и грязь,
дымя по дороге,
куря
и плюясь?
Кто мчится,
кто скачет
виденьем крылатым,
трамбуя
встречных
увесистым матом?

Кто мчится
и едет,
и гонит,
и скачет?
Ответ —
апельсина
яснее и кратче,
ответ
положу
как на блюдце я:
то мчится
наш товарищ докладчик
на диспут:
„Культурная революция".

(1928)

РАССКАЗ ОДНОГО ОБ ОДНОЙ МЕЧТЕ

Мне
с лошадями
трудно тягаться.
Животное
(четыре ноги у которого)...
Однако я хитрый,
купил облигации,
будет —
жду —
лотерея Автодорова.
Многие отказываются,
говорят:
„Эти лотереи
оскомину набили".
А я купил —
и очень рад,
и размечтался
об автомобиле.
Бывало,
орешь:
и ну! и тпру!

А тут,
как рыба,
сижу смиренно.
В час
50 километров пру,
а за меня
зевак
обкладывает сирена.
Утром —
на фабрику,
вечером —
к знакомым.
Мимо пеших,
конных мимо
езжу,
как будто
замнаркома.
Сам себе
и ответственный, и незаменимый.
А летом —
на ручейки и лужки.
И выпятив
груди стальные
рядом,
развеяв по ветру флажки,
мчат
товарищи остальные.
Аж птицы,
запыхавшись,
высунули языки
крохотными
клювами-ротиками.

Любые
расстояния
стали близки,
а километры
стали коротенькими.
Сутки удвоены.
Скорость — не шутка.
Аннулирован
господь Саваоф.
Сразу
в коротких сутках
стало
48 часов.
За день
слетаю
в пятнадцать мест.
А машина,
развезши
людей и клади,
стоит в гараже
и ничего не ест,
и даже,
извиняюсь,
ничего не гадит.
Переложим
работу потную
с конской спины
на бензинный бак.
А лошадь
пускай
домашней животною
свободно
гуляет
промежду собак.

Расстелется
жизнь,
как шоссе, перед нами,—
гладко,
чисто
и прямо.
Крой
лошадей,
товарищ НАМИ!
Крой
лошадей,
АМО!
Мелькаю
в автомобиле, катя
мимо
ветра запевшего.
А пока
мостовые
починим хотя б
для удобства
хождения пешего.

(1928)

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ

На эфирном океане,
там,
где тучи — борода,
громко плавает в тумане
радио-белиберда.
Утро.
На столике стоит труба.
И вдруг
как будто
трубу прорвало:
в перепонку
в барабанную
забубнила груба:
„Алло!
Алло!!
Алло!!!
Алло!!!!"
А затем —
тенорок
(держись, начинается!):
„Товарищи, слушайте
очередной урок,

как сохранить
и полировать яйца".
Задумался,
заволновался,
бросил кровать,
в мозгах
темно,
как на дне штолен.
„К чему ж мне
яйца полировать?
К пасхе,
што ли?!"
Настраиваю
приемник
на новый лад.
Не захочет ли
новая волна порадовать.
А из трубы —
замогильный доклад,
какая-то
ведомственная
чушь аппаратова.
Докладец
полтора часа прослушав,
стал упадочником
и затосковал.
И вдруг...
встрепенулись
восторженные уши:
„Алло!
Последние новости!
Москва!"

Но тотчас
в уши
писк и фырк.
Звуки заскакали,
заиграли в прятки,—
это
широковещательная Уфы
дует в хвост
широковещательную Вятки.
Наконец
из терпения
вывели и меня.
Трубку
душу,
за горло взявши,
а на меня
посыпались имена:
Зины,
Егора,
Миши,
Лели,
Яши!
День
промучившись
в этом роде,
ложусь,
а радио
бубнит под одеяло:
„Во саду аль в огороде
девица гуляла".
Не заснешь,
хоть так ложись,
хоть иначе.

С громом
во всем теле,
крою
дедушку радиопередачи
и бабушку
радиопочтелей.
Дремлют штаты в склепах зданий,
им не радость,
не печаль,
им
в грядущем нет желаний,
им...
—Семь с половиной миллионов—
не жаль

(1928)

ГАЛОПШИК ПО ПИСАТЕЛЯМ

Тальников
в „Красной нови"
про меня
пишет
заборно и храбро.
что лиру
я
на агит променял,
перо
променял на швабру.
Что я
по Европам
болтался зря,
в стихах
ни вздохи, ни ахи,
а только
грублю,
случайно узря
Шаляпина
или монахинь.
Растет добродушие
с ростом бород.

Чего
обижать
маленького?
Хочу не ругаться,
а, наоборот,
понять
и простить Тальникова.
Вы молоды, верно,
сужу по мазкам,
такой
резвун-шалунишка,
уроки
сдаете
приятным баском
и любите
с бонной,
на радость мозгам,
гулять
в коротких штанишках.
Чему вас учат,
милый барчук?
Я
вас
расспросить хочу,
успела ли
бонна
вам рассказать
(про это
и песни поются), —
вы знаете —
10 лет назад
у нас
была
революция.

Лиры
крыл
пулемет-обормот,
и, взяв
лирические манатки,
сбежал Северянин,
сбежал Бальмонт
и прочие
фабриканты патоки.
В Европе
у них
ни агиток, ни швабр —
чиста
ажурная строчка без шва.
Одни
хореи да ямбы, —
туда бы,
к ним бы,
да вам бы.
Оставшихся
жала
белая рать
и с севера,
и с юга.
Нам
требовалось переорать
и вьюги,
и пушки,
и ругань!
Их стих,
как девица,
читай на диване,
как сахар
за чаем с блюдца, —

а мы
писали
против плеваний,—
ведь, сволочи,
все плюются.
Отбившись,
мы ездим
по странам по всем,
которые
в картах наляпаны,
туда,
где пасутся
долларным посевом
любимые вами
Шаляпины.
Не для романсов,
не для баллад
бросаем
свои якоря мы:
лощеным ушам
наш стих грубоват
и рифмы
будут корявыми.
Не лезем
мы
по музеям,
на колизеи глазея.
Мой лозунг:
одну разглазей-ка
к революции лазейку...
Теперь
для меня
равнодушная честь,

что чужие
рифмы рожу я.
Мне
как бы
только
почище уесть,
уесть покрупнее буржуя.
Поэту,
по-моему,
слабый плюс
торчать
у веков на выкате.
Прощайте, Тальников.
я тороплюсь,
а вы
без меня чирикайте.
С поэта
и на поэта
в галоп
скачите,
сшибайтесь лоб о лоб.
Но
скидывайте галоши,
скача
по стихам, как лошадь.
А так скакать
неопрятно, —
от вас
по журналам...
пятна.

(1925)

ЛИЦО КЛАССОВОГО ВРАГА

I. БУРЖУЙ-ПУВО

Распознать буржуя —
просто
(знаем
ихнюю орду!):
толстый,
низенького роста
и с сигарою во рту.
Даже,
самый молодой —
зуб вставляет
золотой.
Чудно́ стрижен,
гладко брит...
Омерзительнейший вид.
А из лысинных целин
подымается —
цилиндр.
Их,
таких,
за днями дни —

раздраконивал
Дени.
А буржуй —
завел бородку
(зря соваться —
нет причин),
влез,
как все,
в косоворотку
и почти
неотличим.
Вид
под спеца,
худ с лица —
не узнаешь подлеца.
Он вшой
копошится
на вашем теле,
никак
не лезет
в тузы,
гнездится
под вывеской
разных артелей,
дутых,
как мыльный пузырь.
Зал
парадных
не любит он,
по задворкам
ищите хвата.
Где-то он
закупает лен,

где-то хлеб
у нас
перехватывает.
Он лавку
украсит
сотнею ваз...
Куда
государственным органам!
В такую
любезность
обсахарит вас,
что вы
прослезитесь растроганно.
Не сам
штурмует,
тих да хитер,
сначала
движется
парламентёр:
он шлет
в канцелярский замок
своих
расфуфыренных самок.
Бывает,
раскиснет партиец иной —
— И мне бы
влюбиться
в звезду из кино!—
мечтает,
ничем не замаран...
А частник
встает
за его спиной,

как Демон
сзади Тамары.
„Не угодно ли взаймы?
Что вы?
Ах!
Сочтемся мы!..“
И идет
заказ
на сии дрова
в артель
гражданина Сидорова.
Больше,
Сидоров,
подноси
даров!
И буржуй,
от чувства великого,
из уральского камня,
с лаской,
им
чернильницу с бюстом Рыкова
преподнес
в годовщину февральскую.
Он купил
у дворника брюки
(прозодежда
для фининспектора),—
а в театре
сияют руки
всей игрой
бриллиантного спектра.
У него
обеспечены рублики —

всем достояньем республики.
Миллионом набит карман его,
а не прежним
советским „лимоном".
Он мечтает
узреть Романова...
Не второго —
а Пантелеймона.
На ложу
в окно
театральных касс
тыкая
ногтем лаковым,
он
дает
социальный заказ
на „Дни Турбиных"—
Булгаковым.

Хотя
буржуй
и лицо перекрасил
и пузо не выглядит грузно,—
он волк,
он враг
рабочего класса,
он должен быть
понят
и узнан.
Там,
где речь
о личной выгоде,

у него
глаза навыкате.
Там,
где можно пролезть
для своих нажив,
там
его
глаза — ножи.
Не тешься,
товарищ,
мирными днями.
Сдавай
добродушие
в брак.
Товарищи,
помните:
между нами
орудует
классовой враг.

II. НОВЫЙ КУЛАК

Кулака увидеть —
просто —
посмотри
любой агит.
Вон кулак:
ужасно толстый,
и в гармошку сапоги.
Ходит —
важный,
волосья —
припомажены.

Цепь лежит
тяжелым грузом
на жилетке
через пузо.
Первый пьяница
кулак.
Он гулякa из гулик —
и целуется с попами,
рабселькорам на память.
Сам
отбился от руки,
все мастачат
батраки.
Сам
прельщен оконным светом,
он,
елозя глазом резвым,
почью
преда сельсовета
стережет
своим обрезом.
Кулака
чернят —
не так ли?—
все плакаты,
все спектакли.

Не похож
на кулачество
этот портрет.
Перекрасил кулак
и вид,
и масть.

Кулаков
таких
почти и нет,
изменилась
кулачья видимость.
Сегодня
кулак
и пашет,
и сам
на тракторе
прет, коптя,
он лыко
сам
дерет по лесам —
чтоб лезть
в исполком
в лаптях.
Какой он кулак?!
помилуй бог!
Его ль
кулаком назовем?
Он
первый
выплатил
свой налог
и первый
купил заем.
А зерно —
запрятано
чисто и опрятно.
Спекульнуть получше
на голодный случай.
У него
никакого батрачества,

крестьянин
лучшего качества.
На семейном положеньице,
чтоб не было
зря
расхода
каждый сын
весной женится,
а к зиме
опять расходится.
Пашут поле им
от семи до семи
батраков семнадцать
под видом семьи.
Попробуй
разобраться!
Иной
работник
еще незрел,
сидит
под портретом Рыкова,
а сам у себя
ковыряет в ноздре,
лежась,
дремля
и покрикивая.
То ли дело —
кулак:
обхождение —
лак.
Все дворы
у него,
у чорта,

учтены
корыстным учетом:
кто бедняк
и который богатый,
где овца,
где скот рогатый.
У него
на одной на сажени
семенные культуры рассажены.
Напоказ,
для начальства глазастого,
де —
с культурой веду хозяйство.
Но
попрежнему —
десятинами
от трехполья
веет сединами.
И до этого дня
наш советский бедняк
голосит
на работе
„Дубину“,
а новейший кулак
от культурнейших благ
приобрел
за машиной машину.
Эх, железная,
пустим.
Деревенщина —
сама пойдет.
Заплатим,
получим
и пустим.

Лицо приятное,
ласковый глаз,
улыбка
не сходит с губ.
Скостит
на копейку
задолженность с вас,
чтоб выпотрошить —
рупь.
Год, другой —
и вся округа
в кабалу
затянута туго.
Трут в поклонах
лбом онучи:
„Почет
Иван Пантелеймонычу".
Он добряк,
но дочь, комсомолку,
он в неделю
со света сживет.
„Где была?
Рассказывай толком!
Набивала
детьми
живот?"—
Нет управы.
Размякло начальство
от его
угощения частого.
Не с обрезом
идет под вечер,
притворясь,
что забыл о вражде,

с чаем
слушает
радиоречи —
уважаемых вождей.
Не с обрезом
идет
такой мужик.
Супротив милиции...
Где ж им!
Но врагу своему
сегодня
гужи
он намажет
салом медвежьим.
И коняга,
страшась медведя,
разнесет
того, кто едет.
Собакой
сидит
на своем добре.
У ямы,
в кромешной темени,
зарыта
деньга
и хлеб,—
и обрез
зарыт
до поры, до времени.
Кулак орудует,
нечего спать.
Будем крепче, чем кремни.
Никаким обрезом
обратно и вспять

не повернуть
советского времени.
Хоти
кулак
лицо перекрасил
и пузо
не выглядит грузно,
он враг
и крестьян,
и рабочего класса,
он должен быть
понят
и узнан.
Там,
где речь
о личной выгоде,
у него
глаза навыкате.
Там,
где брюхо
голодом пучит,
там
кулачьи
лапы паучьи.
Не тешься,
товарищ,
мирными днями,
сдавай
добродушие
в брак.
Товарищ,
помни:
между нами
орудует
классовый враг.
(1928)

„ОБЩЕЕ“ И „МОЕ“

Чуть-чуть еще, и он почти б
был положительнейший тип.

Иван Иваныч —
чуть не „вождь“,
дана
в ладонь
вожжа ему.
К нему
идет
бумажный дождь
с припиской —
„уважаемый“.
В делах умен,
в работе
быстр.
Кичиться —
нет привычек.
Он
добросовестный службист —
не вор,
не волокитчик.

Велик
его
партийный стаж,
взгляни в билет —
и ахни!
Карманы в ручках,
а уста ж
сахарного сахарней.
На зависть
легкость языка,
уверенно
и пусто
он,
взяв путевку из ЭМКА,
бубнит
под Златоуста.
Поет
на соловьиный лад,
играет
слов
оправою
„о здравии комсомолят,
о женском равноправии“.
И, сняв
служебные гужи,
узнавши,
час который,
домой
приедет, отслужив,
и...
опускает шторы.
Распустит
он
жилет...
и здесь —

здесь
частной жизни часики!—
преображается
весь
по-третье-мещански.
Чуть-чуть
не с декабристов
род,
—хоть предков—
в рамы рамьте!
Но
сына
за уши
дерет
за леность в политграмоте.
Орет кухарке,
разъярясь,
супом
усом
капая:
„Не суп, а квас,
который раз,
пермячка сиволапая!..
Живешь века,
века учась
(гении
не ро́дятся)".
Под граммофон
с подругой
час
под сенью штор
фокстротится.

Жена
с похлебкой из пшена
сокращена
за древностью.
Его
вторая зам-жена
и хороша,
и сложена,
и вымучена ревностью.
Елозя
лапой по ногам,
ероша
юбок утлость,
он вертит
под носом наган:
„Ты с кем
сегодня
путалась?..“
Пожил
и отошел,
и лег,
а ночь
паучит нити...
Попробуйте,
под потолок
теперь
к нему
взгляните!
И сразу
он
вскочил и взвыл.
Рассердится
и визгнет:

„Не смейте
вмешиваться
вы
в интимность
частной жизни!"

Мы вовсе
не хотим бузить.
Мы кроем
быт столетий.
Но, боже...
Марксе, упаси
нам
заниматься сплетней!
Не будем
в скважины смотреть
на дрязги
в вашей комнате.
У вас
на дом
из суток —
треть,
но знайте
и помните:
глядит
мещанская толпа,
мусолит
стол и ложе...
Как
под стеклянейший колпак,
на время
жизнь положим.

Идя
сквозь быт
мещанских клик
с брезгливостью
преувеличенной,
мы
переменим
жизни лик,
и общей,
и личной.

(1928)

НАГРУЗКА ПО МАКУШКУ

Комсомолец
Петр Кукушкин
прет
в работе
на рожон,—
он от пяток
до макушки
в сто нагрузок нагружен.
Пообедав,
бодрой рысью
Петя
мчит
на культкомиссию.
После
Петю видели
у радиолюбителей.
Не прошел
мимо
и Осоавиахима.
С химии
в один прыжок

прыгнул
в шахматный кружок.
Играть с Кукушкиным —
нельзя,
он
путал
пешку и ферзя.
(Малюсенький затор!)
Но... Петя
знал,
врагов разя,
теорию зато.
Этот Петя
может
вскачь
критикнуть
всемирный матч.
— Я считаю:
оба плохи —
Капабланка и Алехин,
оба два,
в игре юля,
охраняли короля:
Виден
в ходе
в этом вот
немарксистский подход.
Я
и часа не помешкаю —
монархизмы
ешьте пешкою!—
Заседания
и речи,

ходит утро,
ходит вечер,
от трудов —
едва дыша,
и торчат
в кармане френча
тридцать три карандаша.
Просидел
собраний двести.
Дни летят,
недели тают...
Аж мозоль
натер
на месте,
на котором заседают.
Мозг мутится,
пухнет парень,
тело меньше головы,
беготней своей упарен,
сам
себя
считает парень —
разужасно деловым.
Расписал
себя
на год,
хоть вводи
в работу „нот"!
Где вы, Гастев с Керженцевым?!
С большинством —
проголоснет,
с большинством —
воздержится.

Год прошел.
Отчет недолог.
Обратились к Пете:
— Где ж
работы
смысл и толк
от нагрузок этих?
Глаз
в презреньи
щурит Петь,
всех
окинул
глазом узким:
— Где ж
работать мне поспеть
при такой нагрузке?

(1928)

МЫ ОТДЫХАЕМ

Летом
вселенная
ездит на отдых —
в автомобилях,
на пароходах.
Люди
сравнительно меньшей удачи —
те
на возах
выезжают на дачи.
Право свое
обретая в борьбе,
прут в „6-й“,
громоздятся на „Б“.
Чтобы рассеяться —
и грезить бросьте,
висните,
как виноградные грозди.
Лишь к остановке
корпус ваш
вгонят в вагон,
как нарубленный фарш.

Теряя галошу,
обмятый едущий
слазит
на остановке следующей.
Пару третей
из короткого лета
мы
стоим
в ожиданьи билета.
Выбрался.
Встал.
Достоялся, когда
уже
Черноморья
растет борода.
В очередях
раз двадцать и тридцать
можно
усы отпустить
и побриться.
В поезде
люди,
„Вечерку“ мусоля,
вежливо
встанут
мне на мозоли.
Мы
себя
оскорблять не позволим,
тоже
ходим
по ихним мозолям.
А на горизонте,
конечно в дымке,

встали —
Быковы, Лосинки и Химки.
В грязь уходя
по самое ухо,
сорок минут
проселками трюхай.
Дачу
дожди
холодом о́блили...
Вот и живешь,
как какой-то Нобиле.
Нобиле — где же!
меж тюленьих рыл
он
хоть полюс
слегка приоткрыл.
Я ж,
несмотря
на сосульки с усов,
мучаюсь зря,
не открыв полюсов.
Эта зима
и в июле не кончится,
ради согрева
начал пингпонгчиться.
Мячик
с-под шкафов
с резвостью мальчика
выковыриваю
палкой и пальчиком.
Чаю бы выпить,
окончивши спорт,
но самовар
неизвестными сперт.

Те же,
должно быть,
собачку поранивши,
масло и яйца
сперли раньше.
Ходит корова
тощего вида,
взять бы эту корову
и выдоить.
Хвать бы
за вымя
быстрее воров!
Но я
не умею
доить коров.
Чаю
в буфете
напьюсь ужо,—
грустно мечтаю,
в сон погружен.
В самом
походном
спартанском вкусе,
вылегая
на параллельных брусьях,
тихо дрожу,
как в арктических водах...
Граждане,
разве же ж это отдых?

(1923)

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Трудно
торф добывать
из болот, из луж,
трудно
кучи мусора
выгребать от рождения,
но
труднейшая из служб —
хождение по учреждениям.
Вошел в коридор —
километры мерь,
упаришься
с парой справок.
Прямо —
дверь,
наискось —
дверь,
налево дверь
и направо.
Один —
указательный в ноздри зарыв,

сидит,
горделивостью задран.
Вопросом
не оторвешь от ноздри.
„Я занят...
Зайдите завтра".
Дверь другая.
Пудрящийся нос
секретарша
высунет из дверок:
„Сегодня
неприемный у нас.
Заходите
после дождичка в четверг".
Дойдешь
до двери
с надписью: „Зав".
Мужчина—
сурового склада.
Не подымет
мужчина глаз.
Сердит.
Вошли без доклада.
Рабочий—
зовем:
— Помоги!
Пора
распутать наш аппарат.
Чтоб каждый зам
и каждый зав,
дело
в пальчики взяв,

не отвернув заносчивый нос,
дело
решенным принес.
Внедряйся
в сознание масс,
рассвирепевших от хождения:
— Учреждение для нас,
а
не мы для учреждения!

(1928)

БАЛЛАДА О БЮРОКРАТЕ И О РАБКОРЕ

Балладу
новую
вытрубить рад.
Внимание!
Уши вострите!
В одном
учреждении
был бюрократ
и был
рабкор-самокритик.
Рассказывать
сказки
совсем нехитро!
Но это
отнюдь не сказки.
Фамилия
у рабкора
Петров,
а у бюрократа —
Васькин.

Рабкор
критикует
указанный трест.
Растут
статейные горы.
А Васькин...
слушает да ест.
Кого ест?
Рабкора.
Рабкор
исписал
карандашный лес.
Огрызка
не станет
скоро!
А Васькин
слушает да ест.
Кого ест?
Рабкора.
Рабкор
на десятках
трестовских мест
раскрыл
и пьяниц,
и воров.
А Васькин
слушает да ест.
Кого ест?
Рабкора.
От критик
рабкор
похудел и облез,
растет
стенгазетный ворох.
А Васькин
слушает да ест.

Кого ест?
Рабкора.
Скончался рабкор,
поставили крест.
Смирён
непокорный норов.
А Васькин
слушает да ест.
Кого?!
Других рабкоров.

Чтоб с пользой
читалась баллада,
обдумать
выводы
надо.
Во-первых,
вступив
с бюрократом в бои,
вонзив
справедливую критику,
смотри
и следи—
из заметок твоих
какие
действия
вытекут.
А во-вторых,
если парню влетит
за то, что
держался храбрый,
умерь
бюрократовский аппетит,
под френчем
выищи жабры.
(1928)

ВЕГЕТАРИАНЦЫ

Обликом
своим
белея,
Лев Толстой
заюбилеил.
Травояднее,
чем овцы,
собираются толстовцы.
В тихий вечер
льются речи
с яснополянской дачи: „нам
противна
солдатчина.
Согласно
нашей
веры
не надо
высшей меры".
Тенорками ярыми
орут:
„Не надо армий!"

(Иной коммунист —
железный не слишком —
тоже
вторит
ихним мыслишкам.)
Неглупый,
по-моему,
лозунг кидается,
я сам
к Толстому
начал крениться.
Мне нравится
ихняя
агитация,
но только...
не здесь,
а за границей.
Там бы
вы,
не снедаемы ленью,
поагитировали
страну чемберленью.
Но если
буржуи
в военном раже,
мы будем
с винтовкой
стоять на страже.

(1928)

ЕВПАТОРИЯ

Чуть вздыхает волна,
и, вторя ей,
ветерок
над Евпаторией.
Ветерки эти самые
рыскают,
гладят
щеку евпаторийскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовыми
евпаторийцами.
Скрип уключин,
всплески
и крики —
развлекаются
евпаторийки.
В дым черны
в тюбетейках ярких
караимы,
евпаторьянки.

И сравнясь,
загорают рьяней
москвичи —
евпаторьяне.
Всюду розы
на ножках тонких.
Радуются
евпаторёшки.
Все болезни
выжмут
горячие
грязи
евпаторячьи.
Пуд за лето
с любого толстого
соскребет
евпаторство.
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.

Евпатория, 3/VIII
(928)

МРАЧНОЕ О ЮМОРИСТАХ

Где вы,
бодрые задиры?
Крыть бы розгой!
Взять в слезу бы!
До чего же
наш сатирик
измельчал
и обеззубел!
Для подхода
для такого
мало,
что ли,
жизнь дрянна?
Для такого
Салтыкова —
Салтыкова-Щедрина?
Заголовком
жирно алым
мозжечок
прикрывши
тощий,
ходят
тихо
по журналам
дореформенные тещи.
Саранчой
улыбки выев,
ходят
нэпманам на страх

анекдоты гробовые —
гроб
о фининспекторах.
Или,
злобой измусоля
сотню
строк
в бумажный крах,
пишут
про свои мозоли
от зажатья в цензорах.
Дескать,
в самом лучшем стиле,
будто
розы на заре,
лепестки
пораспустили б
мы
без этих цензорей.
А поди
сними рогатки,—
этаких
писцов стада
пару
анекдотов гадких
ткнут —
и снова пустота.
Цензоров
обвыли воем.
Я ж
другою мыслью ранен:
жалко бедных —
каково им
от прочтенья
столькой дряни?
Обличитель,
меньше крему,
очень
темы
хороши.

О хорошенькую тему
зуб
не жалко искрошить.
Дураков
больших
обдумав,
взяли б
в лапы
лупы вы.
Мало, что ли,
помпадуров?
Мало —
градов Глуповых?
Припаси
на зубе
яд,
в километр
жало вызмей
против всех,
кто зря
сидят
на труде,
на коммунизме.
Чтоб не скрылись,
хвост упрятав,
крупных
вылови налимов —
кулаков
и бюрократов,
дураков
и подхалимов.
Измельчал
и обеззубел,
обэстетился сатирик.
Крыть бы в розги,
взять в слезу бы!
Где вы,
бодрые задиры?

(1929)

ИТОГИ

Были
дни рождества,
нового года,
праздников
и торжества,
пива
и водок...
Был
яд в четвертях
в доме рабочего.
Рюмки
в пальцах вертя,
уставали потчевать.
В селах
лился самогон...
Кто
его
не тянет?!
Хлеба
не один вагон
спили
крестьяне.

От трудов
своих
почив,
занавесившись с опаскою,
выдували
нэпачи
зашипевшее шампанское.
Свою
поддерживая стать,
воспоминаньями овеяны,
попы
садились
хлестать
сладчайшие портвейны.
И артист,
и поэт
пить
валили валом
коньяки, —
а если нет,
пили
что попало.
На четверку
лап
встав,
христославы рьяные
крепко
славили Христа
матерщиной пьяною...
И меж ругани
и рвот
мир
опоенный

бодро
славил
новый год
славой мордобойной...
Не введет
в социализм
дорога скользкая.
На битву
с бытом осклизлым,
сила
комсомольская!
Швабру взять
и с бытом грязненьким
вымести б
и эти праздники!

(1929)

ДУША ОБЩЕСТВА

Из года в год
легенда тянется,
легенда
тянется
из века в век,
что человек, мол,
который пьяница, —
разувлекательнейший человек.
Сквозь призму водки,
мол,
все — красотки;
любая
гадина —
распривлекательна.
У машины
общества
поразвинтились гайки,
люди
лижут
довоенного лютéй.

Скольким
заменили
водочные спайки
все
другие
способы
общения людей.
Если
муж
жену
истаскивает за волосы,—
понимай, мол,
я
в семействе барин,—
это значит
водки нализался
этот
милый,
увлекательнейший парень.
Если
парень
в сногсшибательнейшем раже
доставляет
скорой помощи
калек,—
ясно мне,
что пивом взбудоражен
этот
милый,
увлекательнейший человек.
Если
парень,
запустивши лапу в кассу,

удостаивает
сам себя
и премий,
и наград, —
значит
был привержен
не к воде и квасу
этот
милый,
увлекательнейший казнокрад.
И преступления
всех систем,
и хрип хулигана,
и пятна быта
сегодня
измеришь
только тем,
сколько
пива
и водки напито.
Про пьяниц
много
пропето разного,
из пьяных пений
запомни только:
как от острого,
как от заразного,
беги,
товарищ,
от алкоголика.

(1929)

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
„Какая
гигантская
лошадь-ублюдок".
Верблюд же
вскричал:
„Да лошадь разве ты?!
Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый".
И знал лишь
бог седобородый,
что это
животные
разной породы.

(1923)

ЧТО ТАКОЕ?

Петр Иваныч,
что такое?
Он,
с которым
не ужиться,
стал
нежнее, чем левкои,
к подчиненным,
к сослуживцам.
Целый день
сидит на месте.
Надо вам
или не надо,
проходите,
прите,
лезьте,
сколько влезет —
без доклада.
Весь
бумажками окидан,
мыслит,
выгнувшись дугой.

Скрылась
к чорту
волокита
от энергии
такой.
Рвет
бумажки,
мигом вызнав;
тают,
как от солнца иней.
Этих
всех
бюрократизмов
просто
нету и в помине.
Свет
в лице
играет с тенью...
Где вы,
кисть
или резец?
Нет
названий
поведенью, —
поведенье —
образец.
Целомудрен,
смейтесь, куры...
Нету
силы
надивиться:
не плюет,
не пьет,
не курит

и
не смотрит на девиц он.
Петр Иваныч,
что такое?
Кто
подумать это мог!
Поведенье
таковое
нам,
простите,
невдомек.
Что случилось
с вами,
милый?
Расцвели вы
и взялись
с разутроенною силой
строить
нам
социализм.
Эти
возгласы
не в тон,
лоб
в сомнении
не тискай...
Что такое?
Это —
он
подтянулся
перед чисткой.

(1929)

СМЕНА УБЕЖДЕНИЙ

Он шел,
держась
за прутья перил,
сбивался
впотьмах
косого.
Он шел
и орал,
и материл
и в душу,
и в звезды,
и в бога.
Вошел —
и в комнате
водочный дух
от пьяной
перенагрузки,
назвал
мимоходом
„жидами“
двух

самых
отъявленных русских.
Прогромыхав
в ночной тишине,
встряхнув
семейное ложе,
миролюбивой
и тихой жене
скулу
на скулу перемножил.
В буфете
посуду
успев истолочь
(померяться
силами
не с кем!),
пошел
хлестать
любимую дочь
галстуком
пионерским.
Свою
мебелишку
затейливо спутав
в колонну
из стульев
и кресел,
коптилку-
лампадку
достав из-под спуда,
под матерь
под божью
подвесил.

Со всей
обстановкой
в ударной вражде,
со страстью
льва холостого
сорвал
со стены
портреты вождей
и кстати
портрет Толстого.
Билет
профсоюзный
изодран в клочки,
ногою бушующей
попран,
и в печку
с размаха
летят значки
Осоавиахима
и МОПРа.
Уселся,
смирив
возбужденный дух,—
небитой
не явится личности ли?
Потом
свалился,
вымолвив:
„Ух,
проклятые черти,
вычистили!!!“

(1929)

СТИХИ О ФОМЕ

Мы строим коммуну,
и жизнь
сама
трубит
наступающей эре.
Но между нами
ходит
Фома,
и он
ни во что не верит.
Наставь
ему
достижений любых
на каждый
вкус
и вид,
он лишь
тебе
половину губы
на достиженья
скривит.

Идем
на завод
отстроенный
мы.
Смирись
перед ликом
факта!
Но скептик
смотрит
глазами Фомы:
— Нет, что-то
не верится как-то.—
Покажешь
Фомам
вознесенный дом
и ткнешь их
и в окна,
и в двери.
Ничем
не расцветятся
лица у Фом.
Взглянут —
и вздохнут:
„Не верим!“
Послушайте,
вы,
товарищ Фома!
У вас
повадка плохая.
Не надо
очень
большого ума,

чтоб все
отвергать
и хаять.
И толк
от похвал,
разумеется, мал.
Но слушай,
Фоминая шатия:
уж мы
обойдемся
без ваших похвал, —
вы только
труду не мешайте.

(1929)

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ СЕМИДНЕВКА

Товарищи,
мой
педагогический стих
вам
преподать
рад.
Надо вам
следующие
изобрести
за аппаратом аппарат.
Во-первых,
такой
аппарат желателен:
приладив
рычаги
и винтики,
изобретите
мощный
„электроразжиматель"
для
зажимателей самокритики.

Во-вторых,
большущий
ватман-ковер
расчертите
изобретеньем новеньким,
придумайте
спешно
„авто-уховерт“
для проворота
ушей
чиновникам.
В-третьих,
комбинируя
мало-по-малу
систему
рычагов и домкратов,—
изобретите
„авто-механо-вышибалу“
для
вышибания бюрократов.
В-четвертых,
чтоб не подменяли
энергию масс
деятельностью
староспецовского лона,
изобретите
и усовершенствуйте
„ком-ватер-пас“
для выявления
руководительских
уклонов.
В-пятых,
объединив
электрический ток

с трубопроводом
близким,
изобретите
особый
канализационный сток
для отвода
канцелярской отписки.
В-шестых,
если „завтраками“
вас
томят,—
снимите
с хозяйственников
бремя —
изобретите
„анти-волокито-аппарат“
для выдачи
изобретателям
премий.
В-седьмых,
подумайте,
усевшись на крыльцо,
и выдумаете,
когда посидите,
чтоб делалось
в учреждениях
приветливое лицо,
если
явится
изобретатель-посетитель.
Выполнив
мой
руководящий стих,

в любое
учреждение
забредайте:
можете
все, что угодно,
изобрести —
будет
обласкан
изобретатель.

(1929)

ВОПЛЬ ТЕЛА

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу похерив,
кричу о вещах,
обязательных при социализмє.

„Мне, товарищи,
этажи не в этажи,—
мне
удобства подай!
Мне, товарищи,
хочется жить
не хуже,
чем жили господа.
Я вам, товарищи,
не дрозд
и не синица,

мне
и без этого
делов масса.
Я, товарищи,
хочу возноситься,
как подобает
господствующему классу.
Я, товарищи,
из нищих вышел,
мне
надоело
в грязи побираться.
Мне бы, товарищи,
жить повыше,
у самых
солнечных
протуберанцев.
Мы, товарищи,
не лошади
и не дети —
скакать
на шестой,
поклажу взвалив...
Словом, —
во-первых,
во-вторых
и в-третьих,
мне подавайте лифт.
А вместо этого лифта
мне
прыгать —
работа трехпотая.
Черным углем
на белой стене

выведено криво:
„ЛИФТ
НЕ
РАБОТАЕТ".
Вот так же
многое
противно глазу.—
Примуса́, например...
Дорогу газу!
Поработав,
желаю
помыться сразу.
Бегай —
лифт мошенник!
Словом,
давайте
материальную базу
для новых,
социалистических отношений".

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу похерив,
кричу о вещах,
обязательных
при социализме.

(1929)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Огромные вопросищи,
огромней слоних,
страна
решает
миллионнолобая.
А сбоку
ходят
индивидумы,
а у них
мнение обо всем
особое.
Смотрите,
в ударных бригадах
Союз,
держат темп
и не ленятся,
но индивидум в ответ:
„А я
остаюсь
при моем,
особом мненьице".

Мы выполним
пятилетку,
мартены воспламеня,
не в пять годов,
а в меньше,
но индивидум
не верит:
„А у меня
имеется, мол,
особое мненьище".
В индустриализацию
льем заем,
а индивидум
сидит в томлении
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мнении.
Колхозим
хозяйства
бедняцких масс,
кулацкой
не спугнуты
злобою,
а индивидумы
шепчут:
„У нас
мнение
имеется
особое".
Субботниками
бьет
рабочий мир

по неразгруженным
картофелям и поленьям,
а индивидумы
нам
заявляют:
„Мы
посидим
с особым мнением".
Не возражаю!
Консервируйте
собственный разум,
прикосновением
ничьим
не попортив,
но тех,
кто в работу
впрягся разом,—
не оттягивайте
в сторонку
и напротив.
Трясина
старья
для нас не годна,—
ее
машиной
выжжем до дна.
Не втыкайте
в работу
клинья,—
и у нас,
и у массы
и мысль одна
и одна
генеральная линия.

(1929)

ПТИЧКА БОЖИЯ

Он вошел,
склонясь учтиво.
Руку жму.
„Товарищ —
сядьте!
Что вам дать?
Автограф?
Чтиво?“
„Нет.
Мерси вас.
Я —
писатель“.
„Вы?
Писатель?
Извините.
Думал —
вы пижон.
А вы...
Что ж,
прочтите,
зазвените

грозным
маршем
боевым.
Вихрь идей
у вас,
должно быть.
Новостей
у вас
вагон.
Что ж,
пожалте в уха в оба.
Рад товарищу".
А он:
„Я писатель.
Не прозаик.
Нет.
Я с музами в связи.
Слог
изыскан, как борзая
„Сконапель
ля поэзи́".
На затылок
нежным жестом
он
кудрей
закинул шелк,
стал
барашком златошерстым
и заблеял,
и пошел.
Что луна, мол,
над долиной,

мчит
ручей, мол,
по ущелью.
Тинтидликал
мандолиной,
дундудел виолончелью.
Нимб
обвил
волосьев копны.
Лоб
горел от благородства.
Я терпел,
терпел
и лопнул
и ударил
лапой
об стол.
„Попрошу вас
покороче.
Бросьте вы
поэта корчить!
Посмотрю,
с лица ли,
сзади ль —
вы тюльпан,
а не писатель.
Вы,
над облаками рея,
птица
в человечий рост.
Вы, мусье,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.

В испытанье
битв
и бед
с вами,
што ли,
мы полезем?
В наше время
тот —
поэт,
тот —
писатель,
кто полезен.
Уберите этот торт!
Стих даешь —
хлебов подвозу.
В наши дни
писатель тот,
кто напишет
марш
и лозунг!"

(1929)

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?

Растет
курьерский
строительный темп.
В бригадах
в ударных —
тыщи.
И лишь,
как рак на мели,
без тем
прозаик
уныло свищет.
Отмашем
в четыре
пятерку лет,
но этого
мало поэту.
В затылок
в кудластый
скребется поэт,
а тем
под кудрею —
нету.

Обрезовой
пулей
сельскую темь
кулак
иссверлил, неистов.
Но, видите ли,
не имеется тем
у наших
у романистов.
В две чистки
сметаем
с республики
сор,
пинок
и рвачу,
и подлизе,
а тут
у рампы
грустит режиссер:
мол, нету
ни тем,
ни коллизий.
Поэт,
и прозаик,
и драмщик зачах,
заждались
муз поприблудней.
Сынам ли
муз
корпеть в мелочах
каких-то
строительных будней?

Скоро
и остатки
русалочных воспоминаний
изэлектричат
и Днепры,
и Волховы,—
а искусство
живет еще
сказками няни,
идущими
от царей гороховых.
„Он и она“,
да „луна“,
да плюс —
фон
из революционных
героев и черни...
Литература
и ноет,
и пухнет, как флюс,—
и кажется,
посмотрю,
прочту —
и утоплюсь
от скуки
и от огорчений.
Слезайте
с неба,
заоблачный житель!
Снимайте
мантии древности!
Сильнейшими
узами
музу ввяжите,

как лошадь,—
в воз повседневности.
Забудьте
про свой
про сонет да про опус,
разиньте
шире
глаз,
нацельте
его
на фабричный корпус,
уставьте
его
на стенгаз!
Простите, товарищ,
я выражусь грубо,—
но землю
облапьте руками,
чтоб трубадуры
не стали
„трубо...
раз-
трубо-дураками".

(1929)

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ НАМИ

Если тебе
„корова“ имя,
у тебя
должны быть
молоко
и вымя.

А если ты
без молока
и без вымени,
то чорта ль в твоем
в коровьем имени!

Это
верно и для художника,
и для поэта.

Есть их работа
и они сами:
с бархатными тужурками,
с попоескими волосами.

А если
только
сидим в кабаке мы,

это носи
названье „богемы".
На длинные патлы,
на звонкое имя
прельстясь,
комсомолец
ныряет пивными.
И вот
в комсомольце
срывается голос,
бубнят в пивных
декадентские дятлы.
И вот
оседает
упрямый волос,
спадают паклей
поповские патлы.
И комсомольская
твердая мысль
течет,
расслюнившись
пивом трехгорным,
и от земли
улетают ввысь
идеализма
глупые во́роны.
Если тебе —
комсомолец имя,—
имя крепи
делами своими.
А если гниль
подносите вы мне,
то чорт ль в самом
звенящем имени!

(1929)

СТИХ КАК БЫ ШОФЕРА

Граждане,
мне
начинает казаться,
что вы
недостойны
индустриализации.
Граждане дяди,
граждане тети,
Автодора ради —
куда вы прете?!
Стоит
машине
распрозаявиться —
уже
с тротуара
спорхнула девица.
У автомобильного
у колесика
остановилась
для пудрения носика.
Объедешь мостовою,

а рядом
на лужище
с „Вечерней Москвою"
встал совторгслужащий.
Брови
поднял,
из ноздри —
волóсья.
„Что
сегодня
идет
в „Колóссе"?
Объехали этого.
Других догнали.
Идут
какие-то
две канальи —
трепать
галоши
походкой быстрой ли?
Не обернешь их,
и в ухо
выстрелив.
Спешишь —
не до шуток! —
и с прытью
с блошиною
в людской
в промежуток
вопьешься машиною.
И упрется
радиатор
в покидающих театр.
Вам ехать надо?
Что ж с того!

Прижат
мужчина к даме,
идут
по пузу мостовой
сомкнутыми рядами.
Во что лишь можно
(не язык —
феерия!)
в момент
обложена
вся шоферия.
Шофер
столкновеньям
подвел итог:
разинь
гудок ли уймет!
Разве
тут
поможет гудок?!
Не поможет
и
пулемет.
Чтоб в эту
в самую
в индустриализацию
веры
шоферия
не теряла,
товарищи,
и в быту
необходимо взяться
за перековку
человеческого материала.

(1929)

Я СЧАСТЛИВ!

Граждане,
у меня
огромная радость.
Разулыбьте
сочувственные лица.
Мне
обязательно
поделиться надо,
стихами
хотя бы
поделиться.
Я
сегодня
дышу, как слон,
походка
моя
легка,
и ночь
пронеслась,
как чудесный сон,
без единого
кашля и плевка.

Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.
Дни осени —
баней воняют,
а мне
цветут,
извините — розы,
и я их,
представьте,
обоняю.
И мысли,
и рифмы
покрасивели
и особенные,
аж вытаращит
глаза
редактор.
Стал вынослив
и работоспособен,
как лошадь
или даже —
трактор.
Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен,
укреплен
и приведен в равновесие.
Стопроцентная
экономия
на основном расходе —
и поздоровел,
и прибавил в весе я.

Как будто
на язык
за кусом кус
кладут
воздушнейшие торта,—
такой
установился
феерический вкус
в благоуханных
апартаментах
рта.
Голова
снаружи
всегда чиста,
а теперь
чиста и изнутри.
В день
придумывает
не меньше листа,
хоть Толстому
ноздрю утри.
Женщины
окружили,
платья испестря,
все
спрашивают
имя и отчество,
я стал
определенный
весельчак и остряк—
ну просто—
душа общества.

Я
порозовел
и пополнел в лице,
забыл
и гриппы,
и кровать.
Граждане,
вас
интересует рецепт?
Открыть?
или...
не открывать?
Граждане,
вы
утомились от жданья,
готовы
корить и крыть.
Не волнуйтесь,
сообщаю:
граждане,
я
сегодня
бросил курить.

(1929)

ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ

Он любит шептаться,
хитер да тих,
во всех
городах и селеньицах:
„Тс-с, господа,
я знаю —
у них
какие-то затрудненьица".
В газету
хихикает,
над цифрой трунив:
„Переборщили,
замашинив денежки.
Тс-с, господа,
порадуйтесь:
у них
какие-то
такие затрудненьишки".
Усы
закручивает
весел и лих:

„У них
заухудшился день еще.
Тс-с, господа,
подождем —
у них
теперь
огромные затрудненьища“.
Собрав
шептунов,
врунов
и вруних,
переговаривается
орава:
„Тс-с-с, господа, говорят,
у них
затруднения.
Замечательно!
Браво!“
Затруднения одолеешь,
сбавляет тон,
переходит
от веселия
к грусти.
На перспективах
живо
наживается он —
он
своего не упустит.
Своего не упустит он,
но зато
у другого
выгрызет лишек,

не упустит
уставиться
в сто задов
любой
из очередишек.
И вылезем лишь
из грязи
и тьмы, —
он первый
придет, нахален,
и, выпятив грудь,
раззаявит:
„Мы
аж на тракторах
пахали“.
Республика
одолеет
хозяйства несчастья,
догонит
наган
врага.
Счищай
с путей
завшивевших в мещанстве,
путающихся
у нас
в ногах!

(1929)

ОДЕЖНО-МОЛОДЕЖНОЕ

В известном октябре
известного годика
у мадам
реквизнули
шубку из котика.
Прождав Колчака,
оттого и потом
простилась
мадам
со своим мантом.
Пока
добивали
деникинцев кучки,
мадам
и жакет
продала на толкучке.
Мадам ожидала,
дождаться силясь,—
и туфли,
глядишь,
у мадам износились.

Мадамью одежу
для платья удобного
забыли мы?
Ничего подобного!
Рубли завелись
у рабочей дочки,
у пролетарки
в красном платочке.
Пошла в Мосторг.
В продающем восторге
ей
жуткие туфли
всучили в Мосторге.
Пошла в Москвошвей —
за шубкой,
а там ей
опять
преподносят
манто мадамье.
В Тэжэ завернула
и выбрала красок
для губок,
для щечек,
для бровок,
для глазок.
Из меха —
смех
накрашенным ротиком.
А шубка
не котик,
так — вроде котика.
И стал
у честной
рабочей дочки

вид,
что у дамы
в известном годочке.
В Москвошвее
залежались
котики и кошки.
В руки
моды —
вожжи!
Не по одежке
протягивай ножки,
а шей
одежи
по молодежи.

(1929)

СТАРОЕ И НОВОЕ

Дом за домом
крыши
вздымай,
в небо
трубы
вверти!
Рабочее тело
хольте, дома,
трэйной
кубатурой
квартир.

Квартирка
нарядная,
открывай парадное!

Входим —
и увидели:
вид —
удивителен.

Стена —
в гвоздях.
Утыкали ее.
Бушуйте
над чердаками,
зимы, —
а у нас
в столовой
висит белье
гирляндой
разных невыразимых.
Изящно
сплетая
визголосие хоровое,
надрывают
дети
силёнки,
пока,
украшая
отопление паровое,
испаряются
и высыхают
пеленки.
Уберись во-свояси,
гигиена незваная,
росой —
омывайте глаза.
Зачем нам ванная?!
Вылазит
из ванной
проживающая
в ванне
коза.

Форточки заперты:
„Не отдадим
вентиляции
пот
рабочих пор!“
Аж лампы
сквозь воздух,
как свечи, фитилятся,
хоть вешай
в воздухе
топор.
Потолок
в паутинных усах.
Голова
от гуденья
пухнет.
В четыре глотки
гудят примуса
на удивление
газовой кухне.
Зажал
топор
папашин кулачина, —
из ноздрей
табачные кольца, —
для самовара
тонкая лучина
папашей
на паркете
колется.
Навезенной
невыбитой
рухляди скоп

озирает
со шкафа—
приехавший клоп:
„Обстановочка ничего,
годится,
начнем
размножаться и плодиться".

Мораль
стиха
понятна сама,
гвоздями
в мозг
вбита:
товарищи,
переезжая
в новые дома,
отречемся
от старого быта!

(1930)

ПРИМЕЧАНИЯ

Ничего не понимают. Впервые было напечатано под заглавием „Пробиваясь кулаками" в футуристическом сборнике „Рыкающий Парнас" (Спб. 1914).

Гимн судье. Впервые напечатано под заглавием „Судья" в журнале „Новый Сатирикон", II. 1915, № 9. С этого стихотворения началось сотрудничество Маяковского в „Новом Сатириконе". В своей автобиографии Маяковский вспоминал: „В рассуждении „чего бы покушать" стал писать в „Новом Сатириконе". В этом журнале было напечатано большинство стихотворений Маяковского, написанных в 1915—1916 гг.

Гимн ученому. Впервые напечатано под заглавием „Ученый" в „Новом Сатириконе" 1915 г., № 12.

Военно-морская любовь. „Новый Сатирикон" 1915 г., № 25.

Гимн критику. „Новый Сатирикон" 1915 г., № 28.

Гимн обеду. „Новый Сатирикон" 1915 г., № 29. „*Если ударами ядер тысячи Реймсов разбить*" — во время империалистической войны немцы бомбардировкой разрушили знаменитый Реймсский собор.

Вот так я сделался собакой. „Новый Сатирикон" 1915 г., № 31.

Пустяк у Оки. „Новый Сатирикон" 1915 г., № 33.

Гимн взятке и Внимательное отношение к взяточникам. „Новый Сатирикон" 1915 г., № 35. Этот номер целиком был посвящен взятке.

Мое к этому отношение. „Новый Сатирикон" 1915 г., № 38. „*Сыт, как Сытин*". — Сытин — крупный издатель и капиталист.

Эй! „Новый Сатирикон" 1916 г., № 8.

Надоело. „Новый Сатирикон" 1915 г., № 46, под заглавием „Лучше не называть".

„Простое как мычание" — сборник стихов Маяковского, вышедший в 1916 г.

Сказка о красной шапочке. Впервые напечатано под заглавием „Сказочка" с подзаголовком „Цвету интеллигенции посвящаю" в газете „Новая жизнь", выходившей под редакцией М. Горького. П., 30 июля 1917 г., № 83. *„Кадетами"* назывались члены конституционно-демократической партии „Народная свобода".

Интернациональная басня. Написана была в середине 1917 г. Тема басни — распад Антанты. *„Петух"* — галльский петух (Франция). *„Дог"* — ироническое прозвище Англии. *„Вор"* — царь Николай Романов.

Бабьи бублики. Написано в 1920 г. Одна из многочисленных подписей под сатирическими плакатами „Окна сатиры Роста".

Рассказ про то, как кума. Написано в 1920 г. Где было впервые напечатано, не установлено.

Всем Титам и Власам. „Агитка-лубок", написанная Маяковским для продагиткампании 1920 г. Журнал „Вестник театра" 1920 г., № 71, и брошюра „Театральная продагитация", ГИЗ, 1920 г.

Сказка о дезертире. Выпущена была ГИЗом в 1921 г. массовым тиражом (200 000 экз.) с рисунками Маяковского. Ко второму изданию сказки (1923 г.) Маяковский дописал к ней несколько вступительных и заключительных строф.

О дряни. Было напечатано в журнале „БОВ" („Боевой отряд весельчаков") 1921 г., № 1. Это был первый советский сатирический журнал, возникший при ближайшем участии Маяковского.

Стихотворение о Мясницкой. Где было впервые напечатано — не установлено. *„С вещами на Ярославский"* — Ярославский вокзал в Москве.

Прозаседавшиеся. Первое стихотворение, напечатанное Маяковским в газете „Известия" 5 марта 1922 г. На следующий день, 6 марта 1922 г., выступая на фракции всероссийского съезда металлистов, В. И. Ленин сказал об этом стихотворении: „Давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно" (том XXVII, стр. 177). *„Тео"* — театральный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе. *„Гукон"* — Главное управление коннозаводства при Наркомземе.

Кому и на кой ляд целовальный обряд и Крестьяне, собственной выгоды ради. Агитки, написанные Маяковским в 1922 г. и вышедшие отдельной брошюрой в 1923 г. под заглавием „Обряды" (изд-во „Красная новь", с рисунками Маяковского).

О фиасках, апогеях и других неведомых вещах. „Известия" 21 февраля 1923.

Весенний вопрос. „Красная нива" 1923 г., № 14.

Протестую. „Красная нива" 1924 г., № 3.

На учет каждая мелочишка. Журнал „Смена" 1924, № 6. *Шелли* — английский поэт.

Краснодар и Строго воспрещается. Написаны были после посещения Маяковским Краснодара весной 1926 г. Напечатаны в „Красной ниве" 1926 г., №№ 24 и 30.

Протекция, Любовь, Ужасающая фамильярность, Канцелярские привычки, Мечта поэта, Искусственные люди. Все эти стихотворения были напечатаны в газете „Известия" в 1926 г. — 6 и 13 июня, 27 и 29 августа, 3 и 10 октября.

Лев Толстой и Ваня Дылдин. Литературное приложение к „Рабочей Москве" „За семь дней" 1926 г., № 11, с рисунками Маяковского.

Стабилизация быта. „Известия" 16 января 1927 г. *„Медвежья свадьба"* — популярный в те годы фильм. *Эггерт* — известный киноактер, исполнявший в этом фильме главную роль. В № 2 журнала „Экран" была напечатана анкета о нашей моде и ее будущем. Тов. Гольцман писал: „Мы идем еще дальше, прямо в объятия смокингов и фраков. Шить их у нас уже научились".

Не все то золото, что хоз-расчет. Журнал „Новый Леф" № 4, 1927 г. *„Щеголяет Толстой, в историю ряженый"* — Маяковский имеет в виду пьесу Ал. Толстого и П. Щеголева „Заговор императрицы", популярную в те годы.

Вместо оды. Напечатано в газете „Труд" в Международный женский день 8 марта 1927 г.

Бумажные ужасы. Журнал „Бузотер" 1927 г., № 3.

Даешь изячную жизнь! „Бузотер" № 9, 1927 г. С докладами под этим заглавием о мещанстве и обывательщине Маяковский выступал в своих лекционных поездках в 1927 г.

Корона и кепка. Написано к десятилетию свержения самодержавия. Напечатано в газете „Молодой ленинец", М. 12 марта 1927 г., и в журнале „Бузотер" № 10.

Фабриканты оптимистов. „Бузотер" 1927 г., № 11.

Глупая история. „Бузотер" 1927 г., № 21.

Пиво и социализм. „Бузотер" 1927 г., № 31. Вывеску „Пиво завода им. Бебеля" Маяковский видел во время своей лекционной поездки в Витебск. Первоначально стихотворение называлось „Витебские мысли".

Руководство для начинающих подхалим. „Комсомольская правда" 18 июня 1927 г. С середины 1927 г. началось тесное сотрудничество Маяковского в „Комсомольской правде".

Товарищ Иванов. „Комсомольская правда" 22 июня 1927 г. Напечатано в большой подборке под общим заголовком „Залп по совдуракам".

Письмо к любимой Молчанова. „Комсомольская правда" 4 октября 1927 г. Написано в ответ на стихотворение И. Молчанова, помещенное за неделю до того в „Комсомольской правде". Строчки, взятые в кавычки, — цитата из этого стихотворения.

Маруся отравилась. „Комсомольская правда" 4 октября 1927 г., № 226.

Трус. Журнал „Крокодил" 1928 г., № 28 под заглавием „Драже".

Служака. „Комсомольская правда" 19 июня 1928 г., № 140, в большой подборке под заголовком „Дайте отпуск от революции".

Стих не про дрянь, а про дрянцо. Журнал „Экран" 1928 г., № 32. В первых строках стихотворение перекликается с известным стихотворением Маяковского „О дряни" (см. выше).

Помпадур, Халтурщики, Плюшкин, Идиллия, Столп, Зевс-опровержец, Поп, Подлиза, Сплетник — все эти стихотворения были напечатаны в журнале „Крокодил" 1928 г., №№ 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44 и 47.

Сердечная просьба. „Комсомольская правда" 21 февраля 1928 г. Фамилию „Лукомашко" Маяковский составил из трех фамилий популярных в то время докладчиков — А. Луначарского, критика П. С. Когана и Н. Семашко. *„Час, как частникова такса, час разросся как года"* — в то время в Москве ходили частные такси, у которых счетчики показывали все, что хотелось их хозяину.

Соберитесь и поговорите-ка. „Комсомольская правда" 12 июля 1928 г., в большой подборке под общими заголовками „Что вы покупаете? Против товарной дряни".

Про пешеходов и разинь. Газета „Рабочая Москва" 15 июля 1928 г.

Помощь Наркомпросу. Напечатано в газете „Читатель и писатель" 25 августа 1928 г., № 34, под заглавием „Вместо ответа на анкету".

Слегка нахальные стихи. „Вечерняя Москва" 2 июля 1928 г. Написано по поводу появившейся в газетах заметки, что заведующий Московским коммунальным хозяйством т. Цивцивадзе проектирует украсить площади города мраморными бюстами.

Весенняя ночь. Журнал „Октябрь" 1928 г., № 6.

Две культуры. Напечатано в Международный женский день 8 марта 1928 г. в газете „Труд".

Чье рождество? „Рабочая газета" 25 декабря 1928 г.

Кто он? „Ленинградская правда" 18 мая 1928 г.

Рассказ одного об одной мечте. Журнал „За рулем" 1928 г. № 14.

Без руля и без ветрил. „Комсомольская правда"

8 января 1928 г., в подборке под общим заголовком „Головотяпы забрались в эфир".

Галопщик по писателям. Газета „Читатель и писатель" 8 сентября 1928 г. Стихотворение написано в ответ на статью критика Тальникова о заграничных очерках Маяковского.

Лицо классового врага. Оба стихотворения были напечатаны в „Комсомольской правде" 29 февраля и 21 марта 1928 г.

Общее и мое. „Комсомольская правда" 5 июля 1928 г.

Нагрузка по макушку. „Комсомольская правда" 5 апреля 1928 г. *„Где вы, Гастев с Керженцевым?.."* — Тов. Гастев работал в области научной организации труда (НОТ). П. М. Керженцев был одно время председателем лиги „Время".

Мы отдыхаем. „Вечерняя Москва" 20 июня 1928 г. Упоминание ген. Нобиле связано с его экспедицией к Северному полюсу на дирижабле „Италия" в июне 1928 г.

Размышления у парадного подъезда. Напечатано в газете „Правда" 25 августа 1923 г. в подборке под общим заголовком „Как относятся к посетителям в наших учреждениях".

Баллада о бюрократе и о рабкоре. Напечатано в „Комсомольской правде" 29 августа 1928 г. в подборке под общим заголовком „Деритесь, как черти, с классовыми врагами, бюрократами и душителями самокритики".

Вегетарианцы. Напечатано в „Комсомольской правде" 18 сентября 1928 г. в подборке под общим заголовком „Уроки толстовских празднеств". В 1928 г. праздновалось столетие со дня рождения Толстого.

Евпатория. „Вечерняя Москва" 13 августа 1928 г.

Мрачное о юмористах. Журнал „Чудак" 1929 г. № 5.

Итоги и Душа общества. Оба стихотворения напечатаны в журнале „Трезвость и культура" 1929 г., №№ 1 и 3.

Стихи о разнице вкусов и Что такое? — напечатаны в журнале „Чудак" 1929 г., №№ 2 и 9.

Смена убеждений. „Рабочая газета" 27 сентября 1929 г.

Стихи о Фоме. „Крокодил" 1929 г., № 39.

Изобретательская семидневка. Журнал „Изобретатель" 1929 г., № 10.

Вопль тела. Под заглавием „Даешь материальную базу!" было напечатано в газете „Правда" 27 декабря 1929 г.

Особое мнение. „Крокодил" 1929 г., № 46.

На что жалуетесь. Журнал „Даешь" 1929 г., № 13.

Стих как бы шофера. Журнал „Даешь" 1929, № 14.

Я счастлив. „Вечерняя Москва" 14 декабря 1929 г.

Любители затруднений. „Крокодил" 1930 г., № 1.

Одежно-молодежное и Старое и новое. „Чудак" 1930 г., №№ 1 и 3.

СОДЕРЖАНИЕ

„Любимое оружие". *О. М. БРИК* 3

Ничего не понимают 11
Гимн судье 12
Гимн ученому 14
Военно-морская любовь 16
Гимн критику 17
Гимн обеду 19
Вот так я сделался собакой 21
Пустяк у Оки 23
Гимн взятке 24
Внимательное отношение к взяточникам . . 26
Мое к этому отношение 28
Эй! 30
Надоело 32
Сказка о красной шапочке 35
Интернациональная басня 36
Бабьи бублики 37
Рассказ про то, как кума 39
Всем Титам и Власам 44
Сказка о дезертире 47
О дряни 65
Стихотворение о Мясницкой, о бабе... . . . 68
Прозаседавшиеся 71
Кому и на кой ляд целовальный обряд? . . . 74

Крестьяне, собственной выгоды ради, поймите, дело не в обряде 81
О „фиасках", „апогеях" и других неведомых вещах 86
Весенний вопрос 89
Протестую 93
На учет каждая мелочишка 97
Краснодар 103
Строго воспрещается 106
Протекция 108
Любовь 112
Ужасающая фамильярность 118
Канцелярские привычки 120
Мечта поэта 124
Искусственные люди 129
Лев Толстой и Ваня Дылдин 132
Стабилизация быта 137
Не все то золото, что хоз-расчет 141
Вместо оды 145
Бумажные ужасы 150
Даешь изячную жизнь 154
Корона и кепка 158
Фабриканты оптимистов 162
Глупая история 165
Пиво и социализм 169
Руководство для начинающих подхалим . . 172
Товарищ Иванов 177
Письмо к любимой Молчанова 181
Маруся отравилась 186
Трус 195
Служака 199
Стих не про дрянь, а про дрянцо 203
Помпадур 207
Халтурщики 212
Плюшкин 216
Идиллия 220
Столп 224
Зевс-опровержец 228
Поп 231
Подлиза 234

Сплетник 238
Сердечная просьба 242
Соберитесь и поговорите-ка 246
Про пешеходов и разинь 251
Помощь Наркомпросу 255
Слегка нахальные стихи... 259
Весенняя ночь 263
Две культуры 267
Чье рождество? 272
Кто он? 275
Рассказ одного об одной мечте 278
Без руля и без ветрил 282
Галопщик по писателям 286
Лицо классового врага 291
„Общее и мое“ 304
Нагрузка по макушку 310
Мы отдыхаем 314
Размышления у парадного подъезда 318
Баллада о бюрократе и о рабкоре 321
Вегетарианцы 324
Евпатория 326
Мрачное о юмористах 328
Итоги 331
Душа общества 334
Стихи о разнице вкусов 337
Что такое? 338
Смена убеждений 341
Стихи о Фоме 344
Изобретательская семидневка 347
Вопль тела 351
Особое мнение 354
Птичка божия 357
На что жалуетесь? 361
Не увлекайтесь нами 365
Стих как бы шофера 367
Я счастлив 370
Любители затруднений 374
Одежно-молодежное 377
Старое и новое 380
Примечания 384

БИБЛИОТЕКА

Редактор *В. Катанян.* Технический редактор *А. Цыпло.* Корректор *О. Хохлова.* Переплет *А. Левина.* Сдано в набор 14 марта 1936 г. Подписано к печати 16 июня 1936 г. Зак. изд. № 155. Зак. тип. № 1286. Х-40. М 39. Тираж 35 000 экз. Формат бум. 82×110$^{1}/_{32}$. 24$^{1}/_{2}$ печ. л ист. 19,41 авт. лист. Учетно-авторск. листов 19,41. Уполномочен. Главлита Б-25139. Цена 6 р. 25 к. Пер. № 7 1 р. 25 к. Пер. № 5 50 к. Отпеч. на бумаге Каменской писчебумажной фабрики в 1-й Образцовой тип. Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига". Москва, Валовая, 28.